

Альманах

№ 14

*Литературно-художественный
альманах*

Семейка



выпуск четырнадцатый

*Вупперталь
2013*

важаемые читатели, взрослые и маленькие!

Готовлю этот номер альманаха и всё время вспоминаю давний анекдот про страну, в которой что на заводах ни собирай, всё равно получается автомат Калашникова, и одну широко известную сентенцию про то, что лучший способ избавиться от искушения – уступить ему...

Я это вот к чему. Каждый раз, обнаружив, что в очередном номере альманаха я опять много места уделю живущим в Украине авторам, я даю себе слово в следующем альманахе такого перекоса не допускать. Но каким-то странным образом ко времени выхода нового выпуска портфель альманаха переполняют произведения... ну, вы догадываетесь, чьи! Это что касается анекдота. А что касается сентенции, то, поскольку выяснилось, что бороться с искушением знакомить читателей с моими талантливыми земляками выше моих сил, то я решил искушению уступить и впредь по этому поводу не комплексовать. Слова Ольги Бешенковской о том, что «Семейка» – это своеобразный мост между Днепром и Рейном, оказались пророческими.

Разумеется, кроме украинских авторов, в альманахе представлены и писатели из других стран: Германии, Франции, России и даже Австралии.

Появилась новая рубрика «Иных уж нет...»

Ну и, конечно же, не обойдён вниманием литературный конкурс «Камбала- 2012».

Всех благ!

Составитель

Стихи



и проза

Даниил ЧКОНΙΑ

Кёльн

Поэт, прозаик, переводчик, литературный критик.

Родился 19 февраля 1946 года в Порт-Артуре (ныне Люйшунь). Школьные годы прошли в приазовском Мариуполе. В 1973 году окончил Литературный институт им. М. Горького.

Член Союза писателей с 1976 года, ныне – член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-Центра. Издал 9 книг стихов. В последние годы регулярно печатается в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир», «Арион», «Зарубежные записки» и др. В 2011 году за издание журнала «Зарубежные записки» награждён дипломом Русской премии «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации». Несколько лет подряд является Председателем жюри конкурса молодых поэтов русского зарубежья «Ветер странствий» в Риме и членом жюри Международного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира» (Бельгия).

С 1996 года живёт в Кёльне.

Потомок

*Иногда я думаю о том,
На сто лет вперёд перелетая...
Арсений Несмелов*

Февральский день то солнечен, то хмур,
Закат летит на облаке кауrom...
Хотел бы я увидеть Порт-Артур,
Когда ещё он звался Порт-Артуром.

Когда вздымались завеси песка
И жар ночной пылал страшнее солнца,
Когда прошли Маньчжурию войска,
Чтоб осадить надменного японца.

На западе орудья не рычат,
И на Востоке гул стихает медный.
Всё празднует! Да я и сам зачат
Родителями на волне победной.

Кому теперь не в радость этот пыл?
Кого печаль объяла – перечисли!
Я сам бы пел, когда б уже я был,
И если бы уже я что-то смыслил.

Я пел бы и не думал – в этом соль, –
И даже был бы прав, на самом деле.
Откуда же явилась эта боль,
Где места нет и дальней параллели?

Сгорала горечь в медленном огне,
Смешавшем страх с одышкой восторга.
И тех, кого застигли в Харбине,
Повыволокли до Владивостока.

Щемит кусок незагнанной души
И остаются песни непропеты...
Дворянки, проститутки, торгаши,
Актёры, офицеры и поэты...

* * *

Скажи-ка, скажи-ка, и что это вдруг за печаль?
Какая аджика закатом окутала даль?

Какие рубины горят в опалённых глазах?
Блестят карабины, сияют закаты в слезах.

Обещаны сласти, завещаны дни наперед –
А власти? Что – власти! Всегда презирали народ.

Гуляли медведи, и, жабры кровава во льду,
Рыбёшки-соседи глотали, как воздух, беду.

Чеснок или перец, и соль, и густые масла –
Гляди, иноверец, что жизнь для тебя припасла.

После землетрясения

Я ощутил не вечность наших гор.
Не вечны ни ущелье, ни долина.
Они меня переживут, и сына,
И правнука, и всё же это вздор.

О Вечности ревнуя и скорбя,
Я – не о том, что может быть веками...
Что – дерево? И что – холодный камень?
Душа, одна надежда на тебя!

Свое существованье не прерви!
Ведь нас из тьмы лишь ты выводишь к Свету.
Лишь ты хранишь мгновение любви,
С которым я оплакал землю эту.

Август

1.

Тормознул, прижался к бровке, приоткрыл капот, ворча:
Вот принудит к остановке зажигания свеча!

Вспыхнула звезда-шутиха, словно целясь в грудь холма.
Август. Полночь. Тихо-тихо. А в долине спят дома.

Но – как будто отголоски приглушённые речей –
Где-то рядом в камень плоский ударяется ручей.

И неведомая сила ниоткуда снизошла,
Вдруг волною накатила – память за руку взяла.

Жжёт-сочится, словно ранка: полночь, детство, дальний год.
За руку от полустанка бабушка меня ведёт.

Ухнул электрички филин, набухает тишина.
Среди зарослей-извилин мне тропинка не видна.

Спотыкаюсь. Но, ведомый крепкой старческой рукой,
В мир вступаю незнакомый я, трусишка городской.

И всё те же отголоски нерасслышанных речей...
Просто – рядом в камень плоский ударяется ручей.

Не ручей – в теснине речка. И знакома, и мила...
Так от страха человечка излечила Дзирула.

И легко мне быть собою: ни тревоги, ни беды,
Если слышу шум прибоя, пережат речной воды.

Даже стон дождя и ветра говорит всегда о том,
Что на тыщи километров подо мной – земля, мой дом.

Слаще жизнь текла и горше... Потекла за перевал...
Пролетевший мимо «порше» резким светом ночь взорвал.

Тишину взорвал тугую, озарив в руке свечу...
Что свеча! Вверну другую – вслед за «порше» полечу.

2.

Хорошо на ровном месте, где струится автобан,
Выжать чуточку за «двести», потому что воздух пьян.

Но уже под Вупперталем, где сдвигаются холмы,
Над холмами пролетая, прыть свою умерим мы.

Получи, скакун мой, роздых! Всё равно я пью до дна
Веселящий этот воздух, над которым спит луна.

Вон блестит она, как плаха, и струит свой мерный ток...
Холодок ночного страха, как бесстрашия глоток.

Рассекая полночь светом, за верстою гнать версту.
Мчаться демоном отпетым в вечность, в бездну, в пустоту.

* * *

Буксир на реке завывает...
Я вышел и сразу промок.
Ну что ж, и такое бывает.
И что мне полночный звонок!
И что мне в твоём интересе –
Куда моё время летит!
Ты где-нибудь в теплой Одессе,
А здесь без конца моросит.
Здесь тусклая сырость нависла.
Не спрашивай лучше, не зли!
Летят перелётные числа
И тают в осенней дали.
Недолго уже до мороза,
Как вечер наступит – ни зги...
Какой-нибудь Бабель с Привоза
Тебе заморочит мозги.

Мерцает холодная лужа,
Буксир завывает, скорбя...
Послушай, найди себе мужа!
Пускай он ревнует тебя!

Восемьдесят седьмой

Не понимая ни хрена –
На том или на этом свете,
Прислушался: сопит жена
И дышат безмятежно дети.

С чего вскочил? Всему виной,
Что было принято неслабо.
Приснился дикий сон дурной
И сладкая чужая баба.

Ещё не кончился завод,
В башке – сумбурное уродство.
Сейчас будильник позовёт
На доблестное производство.

Жена проснётся – пригвоздит!
Ему б рюмашек пару-тройку,
И пусть по радио п....т
Генсек про нашу перестройку.

Давняя весна

Дэвиду Губенко

Во сне страдает прокурор:
Козырный туз летит по марту.
Портовый вор – фартовый вор
Не передергивает карту.

А шулер шарит под столом
И пальчиком ползет к ботинку...
Ну, идиот, ну, дуrolом!
Гляди, напорется на финку!

Я этой публике не кум,
Чтоб отираться здесь ночами.
С чего же вдруг пришло на ум,
Как поводили мы плечами.

А днём, покуда спит беда,
Весна ломает ёлки-палки,
Журчит весёлая вода
И чёрный снег сочится в балке.

Там из невидимых берлог –
Ещё во всхлипах, вздохах, всхрапах –
Ползёт на полуголый лог
Зимы тяжелый, спёртый запах.

Но, выпроставшийся из пут
На сине-розовом рассвете,
Окреп и в полдень – тут как тут! –
Дохнул от моря свежий ветер.

И мы, чья первая строка
Ещё не набрана петитом,
У портовского блатняка
Уводим девок аппетитных.

* * *

С концами не сойдутся
Бесследные концы...
Глядишь, уже напьются
Из лужицы скворцы.

Капель слетит на темя –
Прозрачная слеза...
О чём грохочет время?
О чём гремит гроза?

Ещё строка не спета –
О чём? О чём-нибудь.
От февраля до лета
Такой короткий путь.

И прорастает семя,
Согретое лучом...
О чём ты? – шепчет время.
Не знаю сам – о чём.



Виктор Харик. Плакат «Март»

Елена МОРОЗОВА

Донецк

Елена Морозова – инженер-математик, журналист. Член МСПУ.

Лауреат международной литературной премии им. Владимира Даля. Лауреат и дипломант ряда международных литературных конкурсов (Германия, Россия, Украина).

Публиковалась в периодических изданиях и альманахах Украины и стран ближнего и дальнего зарубежья (Россия, Казахстан, Германия). В том числе: «Кукумбер» (Москва), «Фонтан» (Одесса,) «Казаки» (Москва), «Фантаскоп» (г.Сергиев Посад), «Балтика» (Калининград), «Авось» (Дюссельдорф), «Семейка» (Вупперталь), «Звезда Прииртышья» (Казахстан), «Донбасс» (Донецк), «Дикое поле» (Донецк), «Каштановый дом» (Киев), «Парадный подъезд» (Санкт-Петербург) и т.д.

Три поэтические книги: «Босиком по грусти», «Соло времени», «Под облаками».

Пять книг прозы: «Раз-два-сказики», «Прищепки для звезд», «Такси для Парвати», «Если в гости зашла кенгуру», «Фиалковые поля».

ВОТ ОНА – ЕВРОПА!

Амстердам открылся мне с высоты птичьего полёта. Не Сахара!

Мимика бывает намного красноречивее слов.
– Сколько денег с собой везёте? – спросил у меня на ломаном русском таможенник.

Я с готовностью ответила. Дальше – эта гениальная мимика. Почувствовала себя бомжем с улицы Артёма.

Четыре часа ожидания в амстердамском аэропорту. Ещё немного и я перестану в уме пересчитывать евро на гривны. И куплю этот бутерброд в кафе!

От нечего делать бродим по Duty free. Рассматриваю мягкие игрушки. Кто-то внутри меня комментирует: на морде этого тигра отсутствует русская душа, у медведицы глубокая депрессия, муж пьяница и задолженность за берлогу, у слона не хобот, а пожарный шланг.

Наконец мой взгляд отдыхает на букетах голландских тюльпанов из керамики.

Если Земля летучий корабль, то Европа бизнес-класс, а СНГ – эконом.

В электричке от Штутгартского аэропорта по-домашнему уютно. Драповые сидения, клетчатые юбки на дамах. Все просто и спокойно. В глазах улыбки. Это точно общественный транспорт?

Автобан в Баварии. Пусто. Летим за скорость. Говорят, что и тут бывают пробки.

Говорят: в баварских лесах слева и справа от дороги очень много кабанов. Ни одну кабанью морду я не увидела. Потому что леса ещё больше.

Раннее утро в отеле. Облокотилась на поручни балкона. Внизу среди холмов притих, притаился краснокрышый Бад-Мергентхайм. Пристроился у Бога в кармашке. Мне даже почудилось, что он притих стыдливо, сытый, успокоенный. Лишь счастливый разгул птиц и шуршание шин по дорогам с толстым слоем мягкого, как масло, асфальта. Городок, в кото-

ром все давно определились с вечностью, разобрались с нею раз и навсегда.

Вот так они и живут – в огороде у рая.

В Курпарке вечером цветомузыкальные фонтаны. Водяные струи то приседают, то выпрыгивают вверх как пёстрые клоуны. Уходить не хочется. Так бы и стоять здесь часовым у радости.

В рыцарском замке Бад-Мергентхайма скульптура мадонны с младенцем. У младенца лицо взрослого мужика, мадонна загадочно улыбается.

В Ротенбурге возле Церкви святого Якоба стоит металлический Якоб. Весь грязно-зелёно-серый, а торчащий вбок на руке палец почти золотой. Примета: подержаться за палец Якоба к счастью. Примету передают изустно, тут же у церкви.

На резном из дерева алтаре впереди снимающаяся фигурка Иуды. Говорят, из-за бедности прихода на крестный ход выносили одну и ту же фигуру, только атрибуты меняли. Так Иуда становился Иисусом.

3D, похоже, придумал мастер барокко. Из настенной росписи в вюрцбургской резиденции епископа повсеместно торчат пятки и локотки.

Самая большая в мире потолочная фреска Тьеполо не реставрируется несколько веков – нет необходимости, краски смотрятся сочно и натурально.

Делаю вывод: ремонтов в средние века не было.

* * *

В Германии я все цены пересчитывала на гривны и скряжилась. Вернулась в Украину, всё пересчитываю на евро и расточительствую.

* * *

Впечатления:

В Германии нет сорняков и кочек.

В Германии дождь – душ для дорог, а не разведение грязи, туман для украшения ландшафта.

В Германии вещи не ржавеют, цветы цветут круглый год, а ветки на деревьях не сохнут.

В Германии всё немецкое. Только небо точь-в-точь как у нас.

* * *

У дороги восточная чинара. Как ты, подружка, здесь оказалась? А вот ещё одна. Раскинулась подальше.

* * *

Старики-немцы на концерте похожи на запертые дома.

* * *

Фасады домов – вертикальные клумбы.

* * *

Каждый раз, когда я в отеле встречала этого старого немца, он приветливо здоровался и улыбался. Нужно быть нашим человеком, чтобы понять то, что я здесь сейчас написала.

* * *

Интересно – он так пишет талантливо, или только декламирует?

* * *

«У этого телевизионщика мёртвое лицо», – подумала я.

А если включить лицо, как телевизор, поискать подходящий канал?

Человек, плохо знающий иностранный язык, говорит на нём, не прикрываясь нюансами.

Вагоны выше классом более человечны.

Улыбка незнакомого человека – пропуск в хорошее настроение. Просто так.

В немецкой кафешке. Ломоть фрукта на моей тарелке рядом с розой из сливок остался неузнанным.

В Бад-Мергентхайме можно пить просто из-под крана. Осторожно пробую воду на вкус.

– Ты первый раз едешь в Германию? – спросил меня старший сын. – Я тебе сочувствую.

Увидел мой удивленный взгляд и пояснил:

– Тебе же придётся возвращаться!

Уже дома приснился страшный сон: ночь, Германия, рядом пустырь и кладбище. Стоит кто-то. Шатается. Я говорю ему, еле разлепив губы, русским хрипом. И он меня понимает. Сердобольный – отводит к людям.

Вот она – Европа!

Виталий АМУРСКИЙ

Париж

Родился в Москве в 1944 году. Поэт, профессиональный журналист и литератор. С 1973 года постоянно живёт во Франции. Автор 9 книг и многочисленных публикаций в периодике, различных сборниках и альманахах. Лауреат нескольких литературных премий.

Для меня, коренного москвича, родившегося вблизи не остывшего ещё пепелища Второй мировой или, как она именовалась у нас, Великой Отечественной, с понятием «Германия» связались прежде всего очень конкретные вещи: полученная в детстве в подарок игрушечная машинка, привезённая из рухнувшего гитлеровского Рейха (сейчас думаю: играл ли до меня с нею какой-нибудь немецкий мальчик или лишь с завистью смотрел на неё, когда она стояла в витрине магазина?..), медали на гимнастёрках и пиджаках бывших фронтовиков, медали и ордена у отца (среди них «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга»...), самодельные зажигалки из гильз, которые продавали инвалиды у входа на Тишинский рынок, рядом с которым я жил... Германия моего детства была и в соседнем кинотеатре «Смена», где можно было увидеть трофейные ленты с Марикой Рёкк и отечественные – «Два бойца», «Воздушный тихоход», «Падение Берлина»... Была она и в серых одеждах военнопленных, которые строили часть дома №56 на Большой Грузинской улице... Я видел их... Впрочем, наряду с этим, Германия находилась рядом со сказками Пушкина – я имею в виду сказки Братьев Гримм, волшебные истории Гофмана...

Эти и многие очень конкретные детали составляли мозаику «моей Германии», которая дополнилась в школе уроками немецкого, а по существу, увы, пустого советского языка в виде германизированных слов, не имеющих никакого отношения к языку настоящему (вроде «мой брат – тракторист, моя мама – учительница...» и т.п.); отпечаталась и раскрылась позднее в переводах – «Зимней сказкой» и «Путешествием по Гарцу»

Гейне, «Фаустом» Гёте, «Тремя товарищами» Ремарка (переизданная в Москве в 1958 году Худлитом в серии «Зарубежный роман XX века», эта книга стала знаковой для «хрущёвской оттепели»), пьесами Брехта... Естественно, тут речь идет лишь о некоей общей линии, в которую невозможно включить всё – музыку, живопись...

Впервые проехав через эту страну на поезде в 1970 году, транзитом из Парижа в Москву, я не предполагал, конечно, что пройдет не так много лет и этой же дорогой, через не снесённую ещё берлинскую Стену позора я навсегда покину родину, смогу побывать в разных немецких городах... Но каждый раз, радуясь встречам с немецкой землёй, с немецкой жизнью, я ощущал и ощущаю некий особый горьковатый, как дым, привкус истории, которая как бы пропитала мою душу. С этим ничего не поделаешь. Мы не выбираем родителей, время и место своего рождения.

Виталий Амурский

* * *

Есть две Германии, и с немцем
В стихах моих сплошной туман:
Один рифмуется с Освенцим,
К другому рифма – Томас Манн.

Но есть и то, что неделимо,
Как неделим небесный знак,
Как гул вокзального Берлина,
Как связка Марбург – Пастернак.

Лили Марлен¹ *Русский вариант*

Возле казармы впечатан
След часового в гравий,
Свет фонаря печальный
Девичий лик оправил.
В мире, что злом отравлен,
Выше враждующих армий –
Нежность твоя, Лили Марлен,
Верность твоя, Лили Марлен.

Ночь и туман осенний
Пахли листвой и дымом,
Капли дождя осели
Около глаз любимых.
Спали в казармах парни,
В снах была с каждым парнем
Нежная Лили Марлен,
Верная Лили Марлен.

И на фронтах, в траншеях,
В бешеной круговерти,
Силой её волшебной
Сколько спасло от смерти!..

¹ Созданное в годы Первой мировой войны немецким поэтом Хансом Ляйпом (1893-1983), произведение появилось в печати в 1937 году под названием «Песня молодого солдата на посту». Под музыку Рудольфа Цинка песня исполнялась первоначально как «Девушка под фонарём», а позднее: «Лили Марлен». Была исключительно популярна в Германии, но затем запрещена ведомством Геббельса. Получила новую жизнь во многих странах, в разных версиях, как антифашистская и антивоенная. У американских солдат, воевавших в рядах сил антигитлеровской коалиции, «Лили Марлен» ассоциировалась прежде всего с голосом Марлен Дитрих. Среди русских переводов (с пометкой «Из неизвестного автора») наиболее известен сделанный И.Бродским (В.А.)

Мир, что был кровью замаран,
Вылечил свои раны.
Нет лишь тебя, Лили Марлен.
Нет лишь тебя, Лили Марлен.

Из цикла «Между книгой и пеплом. Берлинская тетрадь» (2011)

Цитадель

О да! Берлин – прекрасный город –
Минувшего канва живая,
Но что-то тут мне першит горло
И сердце будто бы сжимает.

Неужто впрямь под этой синью
Небес, на площадях нарядных,
Сливался Вагнер с речью псиной
И толпы напивались ядом?

И где-то тут же с папироской,
На карте с тёмным грифом Wehrmacht
Стрелу нарисовав nach Moskau,
Потягивал ариец вермут...

Подтягивались португепи
Под марши и под «Лили Марлен»,
И был уже туман над Шпрее
Подобен лазаретной марле.

В предместьях расцветали яблони,
История писалась начисто,
А я, ещё на свет не явленный,
Как русский Untermensch в ней значился.

Площадь Бебеля

Тут – ставился равенства знак
Между книгой и пеплом.

Там – на востоке – убивали писателей
За то, что они были талантливы.

Читая книги, мы победили варваров,
Не заметив, как превратились в них сами.

Как же это случилось? –
Некого мне спросить, кроме своего сердца.

У бывшей Стены позора, или Некрасов

«Стена. Её ощущаешь, не видя её...»

Виктор Некрасов

Брандербургские ворота,
Шик парадного фронтона,
Ну а я вполоборота –
К блокам тем, что из бетона.

К тем, что дали вам в «награду»
За непроданную совесть,
За окопы Сталинграда
Заодно (за повесть то есть).

За порядочность, конечно,
Прямоту в душе и слове
И, возможно, делом грешным,
Просто так, по чьей-то злобе.

Годы, годы!.. Щебет птичий,
Как на кладбище смиренном.
Ни Стены, ни пограничья,
Только тени убиенных.

Цветы на Чекпойнт Чарли

Розы на холоде чахнут –
Кто-то о ком-то помнит...
Полдень на Чекпойнт Чарли –
Будто шлагбаум поднят.

Рваная кинолента –
Проволока в спирали.
Прошлое по фрагментам,
Словно себя, собираю.

Россия и Германия

Москва-река и Шпрее...
Парады. Барабаны.
Там – Иофан, там – Шпеер.
И там, и там – бараны,

В брусчатку шаг вбивая,
Идут – озноб по коже!
Там – клуб, а там – пивная,
Но вывески их схожи.

Там – Мухина, там – Брекер:
Искусство новой власти!
А над Европой ветер
Свистит меж звёзд и свастик.

Двухглав поганый демон –
НКВД, гестапо.
Там – Кирова, там – Тельмана
Не стало.

Россия и Германия,
Как судьбы ваши близки:
Великих целей мании
И – лагерные миски...

* * *

В тех городах, где сталь с пометкой «Krupp»,
О войнах и смертях забыть не жалко,
Но год за годом, проходя свой круг,
Не изменяют местного ландшафта.

Всё те же трубы, черед холмов
И вагонетки туч на небе хмуром,
И отдалённый звон колоколов,
Как будто из цехов кузнечных Рура.

*Эссен, Вупперталь.
Май, 2012.*

* * *

Бутылка рейнского распита.
Соседи – господа в летах.
Немецкий город. Дойче вита.
Чужая вита, скажем так.

Но даже если не чужая,
Её порядком не смущён,
В края другие уезжая,
Скажу учтиво: danke schön.

И, может быть, сквозь птичий щебет,
Где всё как в жизни – на износ,
Мне вдруг послышится: ich sterbe,
Что Чехов тихо произнёс.

* * *

Памяти А.Зимины

У скалы с Лорелеей
Парус вздут над волной,
Как билет лотереи –
Той, где шанс нулевой.

Впрочем, даже без шанса
Выпал в жизни успех,
Если звёздного шнапса
Выпить тут ты успел.

* * *

Землякам в Германии

Покуда облака, как баржи на погрузке,
На Рейне тросы у причалов трут,
Друзья мои, пошпрехаем по-русски,
Чьё сердце в нём – не так уж много тут.

Замечу, впрочем, не о том забота,
Чтоб обсуждать сердечные дела, –
Мне просто нашей речи позолота
В соседстве с речью гётевской мила.

Вениамин АГЕЕВ

Перт

Родился в Чимкенте. В Москве получил профессию инженера-машиностроителя. Работал в Чимкенте. Вскоре после путча 1991 года эмигрировал в Австралию. В настоящее время – инженер в крупном промышленном концерне; кроме этого, занимается литературой, пишет русские субтитры для зарубежного кино. В 2011 году в России были изданы его повесть и роман. В 2012 году публиковался в альманахе «Мастерская» (Германия). В 2013 году сборник Вениамина Агеева «Страна незаходящего солнца» был награжден почётным дипломом на международном литературном конкурсе в Берлине в номинации «крупная проза».

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ

К сожалению, то, чем озабочен и над чем размышляет герой рассказа, имеет место быть в человеческой среде. Хотя меня лично смущает упоминание в рассказе достойных всяческого уважения имен – как говорится, мы любим их не за это. Но писателю они нужны для заострения и гиперболизации проблемы. В общем, это тот непростой случай, когда точки зрения автора и редакции могут не совпадать...

Составитель

Не так давно мне довелось сидеть за праздничным столом в приятельской компании, сплошь состоящей из привычного круга давно знакомых между собой людей, кроме одного приезжего, мужчины средних лет, обладателя представительной внешности и мягких манер, а вдобавок, как шёпотом предупредила меня хозяйка дома Зинаида ещё в прихожей, автора нескольких фундаментальных трудов в области генной инженерии. Человек этот, будучи приглашённым на недавно проводившийся в нашем городе симпозиум, заранее сообщил

Зинаиде о своём предстоящем прибытии, и та, ни на секунду не усомнившись, незамедлительно предложила ему тепло и кров, поскольку, как она пояснила, «не чужие люди», а хорошие гостиницы нынче по карману разве что нуворишам, вроде усатых торговцев привозным урюком, до сих пор щеголяющих в давно вышедших из моды кепках-аэродромах. Генетик предложение с благодарностью принял, да так и застрял в гостях, запросив уже после окончания симпозиума трёхдневный отпуск без содержания у своего начальства, а потом дополнительно продлив его ещё на целую неделю. Возможно, что такому решению способствовало отсутствие мужа Зинаиды, который как нельзя кстати находился в отпуске «на водах», где лечился от хронического гастрита. Особенно вероятным это соображение виделось в свете непринуждённого обращения между инженером и хозяйкой, которая, представляя его друзьям как «Павла Андреевича или просто Пашу», скороговоркой сообщала, что они водят дружбу ещё с институтских времён и что ей не раз доводилось «передирать» у талантливой уже в студенческой молодости конкурника домашние задания и контрольные работы. По тому, с какой лёгкой грацией сновала между кухней и гостиной Зинаида, вся звеня от распиравшего её изнутри горделивого восторга, и с какой ласково-снисходительной улыбкой наблюдал за её хлопотами инженер-генетик, можно было заподозрить, что эту пару связывали не одни контрольные работы. Помимо уже упомянутого хозяина и журналистки Лены, ушедшей в добровольное затворничество по причине где-то подхваченной с большим запозданием ветрянки, весь наш маленький кружок был в сборе, а это ни много ни мало одиннадцать человек. Не считая искренней симпатии и интереса друг к другу, да ещё, быть может, сходного уровня образования, нас мало что объединяет: профессии почти у всех разные, семейный статус тоже, возраст варьирует в пределах семи-восьми лет, есть пары с детьми, но есть и бездетные. Это, с одной стороны, не мешает нам быть хорошими друзьями и ощущать себя органичной частью чего-то целого, а с другой – предполагает взаимное подначивание и на-

смешливый тон, хотя проявление того же тона в присутствии посторонних людей было бы, пожалуй, воспринято как нарушение группового этикета. В качестве иллюстрации можно привести Зинаидино оповещение о болезни Лены, сделанное вполголоса и лишь для близких подруг: та, якобы, очень хотела «хоть одним глазком взглянуть» на генетика, но, даже терзаясь от неудовлетворённого любопытства, вынуждена была отказаться, потому что корочки от ветряночной сыпи ещё не все отпали, а она не хотела, чтобы кто-либо видел ущерб, нанесённый её неземной красоте. Добавьте к этому соображение о том, что оспой нужно болеть в детстве, а «не на старости лет», то есть в тридцать четыре года, и у вас будет образец нашего стиля общения. Сразу отметим, что «просто Паша» сразу пришёлся по душе всей компании, за одним лишь исключением. Вы, конечно, подумали, что здесь-то и начинается интрига, и что человек, не разделивший заблуждений большинства, в конце концов окажется единственным, кто верно оценил ситуацию и предугадал подлую сущность чужака? Ничуть не бывало. Павел Андреевич оказался на редкость приятным собеседником, доброжелательным и эрудированным, к тому же без всякого зазнайства, которое можно было бы предположить в авторе фундаментальных трудов. Несмотря на то что впоследствии он выказал чрезмерную горячность в спорах, никто не придавал этому особого значения, так что и расставались мы с ним под конец вечера как добрые знакомые, не чувствуя себя сколько-нибудь обманутыми в той симпатии, которая непроизвольно возникала при первом же взгляде на его приветливое и открытое лицо. Что касается единственного исключения, то тут вся механика чувств лежала как на ладони и была вполне объяснимой и даже простительной, хотя её и не назовёшь похвальной. Серёжа Оганесян, сразу заявивший себя как оппозиционер в отношении всех, без изъятия, взглядов генетика, элементарно ревновал, поскольку также время от времени злоупотреблял гостеприимностью хозяйки, причём совершенно не смущаясь присутствием её мужа. Впрочем, хотя у культурных людей и не принято говорить пло-

хо за спинами своих товарищей, мы должны, справедливости ради, заметить, что Зинаидин муж всегда был совершеннейшим «ботаником», то есть до такой степени Паганелем, озабоченным исключительно состоянием элементарных частиц, что ни высокая, несмотря на идущий к завершению четвёртый десяток, грудь Зинаиды, ни её стройная шея, ни, в конце концов, её полновесный и необыкновенно притягательный стан не входили в сферу его интересов и не получали даже малой толики вполне заслуживаемого ими внимания.

Так или иначе, но поначалу беседа текла размеренно и мирно, тем более что, как это обычно бывает при первых встречах с малознакомыми людьми, никто и не пытался придать ей серьёзное или полемическое направление. Да наша компания и не отличается буйством и агрессивностью. Говорили о всяких пустяках, вроде недавних выборов в Америке, последствиях финансового кризиса и увядании пилотируемой космонавтики. Даже глобальное потепление, от которого, по большому счёту, никому ни жарко ни холодно, успели обсудить. Здесь, правда, обнаружилось значительное расхождение в оценках того, насколько выиграли бы от увеличения площади пахотных земель такие страны, как Канада и Россия, если бы потепление и в самом деле произошло, но любые, даже самые радикальные, мнения высказывались с подчёркнутым уважением к позициям противных сторон. Между тем хозяйка продолжала челночные рейсы на кухню, и, следует отметить, что меню на этот раз отличалось особой изысканностью. В каком-то смысле такой выбор свидетельствовал о некоторой недальновидности, потому что, во-первых, Зинаида и без излишнего усердия никогда не разочаровывала друзей своим столом, а во-вторых, и это самое главное, Серёжа, и так лишённый некоторой доли рутинного и, в силу этого, как бы узаконенного, ухаживания, окончательно почувствовал себя разжалованным в рядовые. Мне досталось место с ним по соседству, и я уже давно обратил внимание на то, как он опрокидывал стопку за стопкой, запиная горечь обиды. В то же время превосходным деликатесам

нельзя было не отдать должное, и Оганесян в этом смысле не отставал от других, что хотя бы не позволяло ему напиваться натошак. Приблизительно между картофельными крокетами с ветчиной и лоранским пирогом его охватил азарт забияки. Несмотря на то что пирог, по мнению Володи Чилиумова, был приготовлен с искусством, которому позавидовала бы даже уроженка Лотарингии – а уж он-то, объездивший всю Францию вдоль и поперёк во время стажировки в прошлом году, знает толк в запеканках, – Серёжа Оганесян решительным жестом отверг предложенный хозяйкой аппетитнейший ломоть и открыл военные действия следующим вопросом:

– Вот скажите мне, Павел Андреевич. Вы недавно добились введения генетической паспортизации. А где гарантия, что завтра одному из нас не запретят иметь детей на том лишь основании, что наш генетический материал не прошёл какого-нибудь из критериев отбора?

Генный инженер на секунду опешил и поперхнулся, но быстро пришёл в себя и ответил вполне дружелюбно и даже кротко:

– Видите ли, Серёжа, здесь есть несколько нюансов: я не занимаюсь паспортизацией, не определяю никаких критериев и не считаю, что есть основания бояться генетической дискриминации. Если же подойти к вашему вопросу на более общем уровне...

– Ну если и не вы лично, – возвысил голос Оганесян, – так ваши коллеги, какая разница! Всё это – сплошное неомальтузианство и даже евгеника. А вот представьте себе, что ваши родители в своё время не прошли бы отбора? Тогда вас и на свете не было бы, и не сидели бы вы сейчас с нами за столом, не ели бы второй кусок пирога!

– Я понимаю ваше возмущение, но дело в том, что...

– Или возьмём перестройку генома зародыша, якобы по высшим медицинским соображениям. А может, он не хочет?

– Кто не хочет?

– Кто-кто! Зародыш. Ну, в смысле человек, который вырастет из этого зародыша. Вы у него спросили?

– Серёжа, – всё так же кротко попытался возразить Павел Андреевич, – я не занимаюсь проблемами человеческого генома, но если поставить вопрос дихотомически...

– Как это не занимаетесь? А что же вы тогда делаете?

– Я работаю в другой области. Ну, если грубо, то в области сельского хозяйства. Сопротивляемость злаков болезням и вредителям. Урожайность. Примерно так.

На этом месте Оганесяновский напор ослаб, потому что его мощному, но уже одурманенному алкоголем интеллекту требовалась время для перегруппировки и мобилизации, чем тут же воспользовалась осознавшая свой просчёт Зинаида и незамедлительно попросила Серёжу помочь ей достать из духовки фаршированного кашей гуся, чтобы прекратить неуместную перепалку. Впрочем, она распорядилась возможностью остаться с Оганесяном наедине крайне неумело и вместо того, чтобы успокоить его двумя-тремя интимными касаниями, строго зашептала:

– Мурзик, ты ведёшь себя неприлично! Тебе нельзя больше пить.

Читателю может показаться странным такое обращение к кандидату технических наук, но из песни, как говорится, слова не выкинешь. Кстати, у Серёжи имеется даже более интересное прозвище для Зинаиды, но о нём я расскажу вам в другой раз, так как эта деталь не имеет отношения к нашей истории. Оганесян, как и положено нормальному мужчине в подобной ситуации, не только не внял голосу разума, в данном случае вложенному в уста любимой женщины, но и ещё сильнее обиделся и, возвращаясь на своё место, про себя назвал Зинаиду коротко, но ёмко – настолько ёмко, что мы даже не отважимся облечь его мысленную реплику в печатную форму. Конечно, будь на его месте какой-нибудь другой, менее горячий, человек, он мог бы истолковать высказанный упрёк совершенно иначе. Например, в том смысле, что его по-прежнему любят, и зачем сердиться и делать из мухи слона? Да, в прошлом был роман, но теперь всё кончено, а если и не совсем кончено, то это вовсе

не важно: он как приехал, так и уедет, а ты будешь всегда. Словом, «он – мгновение, а вечность – ты», если слегка перефразировать певца сумеречных настроений Игоря Северянина. Но Зинаида имела дело не с кем-нибудь другим, а именно с Серёжей, да к тому же не совсем адекватным после возлияний, так что ей надлежало бы проявить больше понимания. Впрочем, плюхнувшись на стул, Оганесян притих и некоторое время мрачно молчал. За столом тем временем продолжалась беседа о генетике, подхваченная Володей, который настолько заинтересовался урожайностью, что так и сыпал вопросами. Павел Андреевич отвечал обстоятельно и вполне доступно, хотя никто из присутствующих, не считая Зинаиды, не имел глубоких познаний в биологии. Серёжа лишь один раз снова вклинился в дискуссию, заявив, что некоторые учёные относятся к повышению урожайности крайне отрицательно, ибо это затушёвывает поистине серьёзную проблему перенаселения планеты. Против ожидания, генный инженер не стал возражать, а лишь отметил, что для решения проблемы перенаселения нужна политическая воля и отрешённость от эмоциональных стереотипов, а ни того, ни другого пока что не видно. И, принимая во внимание реальные обстоятельства, каждый должен заниматься своим делом. Дальнейшему смягчению нравов способствовал гусь с кашей, действительно заслуживавший всех тех похвал, которыми наградили за него хозяйку благодарные гости. Но уже под занавес генетической темы возник новый аспект разговора, вновь нарушив хрупкий мир. На этот раз повод для вспышки, совершенно неожиданно для себя, дала Людочка Боруцкая, длинноногая блондинка с прекрасными дерзкими глазами. «Людочка» – потому что она сама обычно так представляется, особенно при знакомстве с симпатичными мужчинами, и сегодняшнее знакомство не было исключением. Людочка работает в местном издательстве корректором. Наверное, в силу этого она отличается повышенной грамотностью и безупречным литературным вкусом – например, ненавидит Пауло Коэльо за «тупую банальность», в чём мы с ней дружно солида-

ризируемся. Вообще-то, Людочка человек очень тактичный и осторожный в высказываниях – но уж тут всё так совпало, что реакцию генетика никак нельзя было предположить.

– Павел, вот вы говорили, что декларация о геноме человека видит цель прикладной генетики в улучшении состояния здоровья людей и уменьшении их страданий. Между тем, некоторые писатели и даже религиозные деятели утверждают, что отсутствие страданий в мире приведёт к нравственной деградации человечества. Я-то, положим, так не считаю. А вот вы, как русский интеллигент, что думаете об этом?

Тут нашего инженера заметно перекосило, и он произнёс с натянутой улыбкой, стараясь казаться любезным:

– С удовольствием скажу вам, Людочка, что я об этом думаю, если вы согласитесь не причислять меня к русским интеллигентам.

– Я, признаться, не вполне понимаю. Вы не русский?

– Русский.

– Но не интеллигент?

– Ни в коей мере.

– Вам что, это слово кажется неблагозвучным?

– Да нет, почему же, слово как слово, не в нём дело. Слово меня устраивает. Меня компания не устраивает.

– И чем же вас не устраивает компания?

– Там маловато приличных людей – если учесть, кого в ней обычно подразумевают. А сделав поправку на масштаб пропорции, почти никого. Вот этим и не устраивает. Быть может, два века тому назад слово «интеллигент» носило положительную окраску или хотя бы нейтральную. Но только не сегодня.

– Это вы через край хватили, милейший! – вновь закусил удила Серёжа, к тому времени ощутивший себя полным лишенцем, которому уже нечего терять. – Вот я, например, хотя это, может быть, чересчур самонадеянно, считаю себя интеллигентом. И все мы, – рукою он сделал круговой жест сеятеля, слишком широкий для трезвого человека, – все мы здесь считаем себя интеллигентами.

– Безусловно, это ваша прерогатива, кем себя считать, но я, глядя на вас, не оставляю надежды, что вы заблуждаетесь.

– Постойте! Допустим, вы правы, но ведь всякое суждение должно быть обосновано, – мягко возразила Павлу Андреевичу Людочка, неожиданно проявив склонность к формальной логике, – вы согласны? Обоснуйте – тогда, быть может, и мы присоединимся к вашему мнению.

– Здесь и обосновывать нечего! – неожиданно рассердился генный инженер. – Но я попробую, хоть мне и претит доказывать самоочевидные вещи. Давайте пройдем от частного к общему.

– А давайте лучше от общего к частному, – запротестовал Оганесян, – а то вы приведёте в пример десяток подлецов, и получится, что нам нечем крыть.

– Пусть будет от общего к частному. Вот вы, Людочка, и дайте нам определение.

– Ну, я не знаю, что сказать так сразу. Наверное, в первую очередь, интеллигент – это человек образованный.

– По словам академика Лихачёва, – блеснула эрудицией Элла Штаубе, – это человек, занимающийся интеллектуальным трудом и обладающий умственной порядочностью.

Элла и Артур Штаубе – единственная в нашей команде пара, которая даже в фуршетной фазе вечеринок перемещается только вместе. Все остальные, едва переступив порог, разделяются, чтобы встретиться лишь перед уходом домой – если, конечно, не возникает какой-то ситуации, требующей общего участия. Вектор движения тандема Штаубе при этом всегда определяет Элла – миниатюрная брюнетка с чуть заметным пушком над верхней губой, что, впрочем, нисколько не портит её внешности и даже придаёт ей подтекст чувственности. Во всяком случае, когда она около года тому назад попробовала обесцвечивать свои усики, все мужчины, не считая, разумеется, Артура, который по понятной причине не был вовлечён в обсуждение и голосование, нашли, что Элла не выиграла от перемены. Между прочим, она и сама скоро отказалась от об-

новлённого образа, и это только делает ей честь – по моим наблюдениям, женщины наиболее упорствуют как раз в том, что им не идёт. В движении супруги Штаубе напоминают буксир и баржу. За юркой, но хорошо держащей курс Эллой следует высокий, крупный и симпатичный, но немного вялый Артур. В разговорах происходит то же самое – Артур обычно представляет группу поддержки. Вот и сейчас он с готовностью продемонстрировал чувство локтя:

– Лучше и не скажешь!

– Присоединяюсь! – отозвалась Людочка. – Но я хочу добавить. Это должен быть ещё и передвижник, носитель просветительских идей и нравственных идеалов. Вы, Павел Андреевич, согласны?

– Более чем. Особенно про носителей нравственных идеалов вы удачно заметили. Интеллигенты постоянно носят нравственные идеалы у себя в сумке, как старуха Шапокляк крысу Лариску. И приспособливают их, по мере надобности, к текущей ситуации. К этому могу ещё добавить, что у типичного интеллигента правосознание на уровне пещерного человека, а то и вовсе никакого нет.

– Ну, это уж ерунда какая-то! – отбросив всякую учтивость, воскликнул Серёжа.

– По-моему, – возразила Элла, – вы на интеллигенцию клевете. Что даёт вам основание...

– Да вот, смотрите сами! – нетерпеливо перебивая собеседницу, воскликнул инженер. – Смотрите! Лихачёв – интеллигент?

– Интеллигент, – подтвердила Элла.

Некоторые другие участники разговора тоже покивали согласно – интеллигент, мол, интеллигент до мозга костей, какие могут быть сомнения?

– Так вот. Сразу после октябрьского расстрела Дома Советов в девяносто третьем году, ещё до того, как из здания успели вынести трупы убитых и отмыть стены от крови, этот ваш интеллигент в компании с другими интеллигентами напеча-

тал в газете «Известия» открытое письмо президенту, требуя репрессий. Призывал Ельцина перейти от разговоров к конкретным поступкам. Мол, раз тупые негодяи уважают только силу, так и нужно её применить, а то – что за слюняйство? Всего-то каких-нибудь несколько сотен человек погибло. Как вам позиция Лихачёва? При том, что антиконституционными были действия президента, а не парламента. Вот это и есть типичный интеллигентский подход: судить не по кодексу, а «по правде».

– Эти, в Верховном Совете, тоже были хороши! – парировала Элла.

– Наверное. Тоже хороши. А почему бы они были не хороши? Они там тоже были сплошь интеллигенты, только другой масти. Да только закон всё же стоял на их стороне.

– Правда, было что-то такое. А кто ещё подписывал это письмо? – спросил Серёжа Оганесян. – Совсем не помню.

– Я тоже всех не припомню, – после небольшой паузы отозвался Павел Андреевич. – Точно знаю, что подписали Астафьев, Окуджава, Ахмадулина, Приставкин, Бакланов и Гельман.

– Вот сволочи! – озадаченно сказал Оганесян, разочарованный столь прискорбным поведением своих недостойных подзащитных. – А у меня ещё и пластинки этого Окуджавы есть. Сейчас приду домой и выкину к чёртовой матери.

– Верно, так оно и было, – кивнул Володя. – Меня в октябре девяносто третьего собирались в Москву командировать, но заказчики перенесли сроки, и я только рад был, что эту заваруху вижу по телевизору, а не наяву. А потом интервью с Аксёновым показали – про то, как он сильно переживает, что не в России сейчас. А то бы, дескать, тоже подписал.

– Кстати, – продолжил генный инженер, – этот ваш Лихачёв, хоть и обласкан был впоследствии советской властью, но в далёкие тридцатые годы успел в лагерях посидеть и даже на знаменитом Беломорканале поработать за участие в подпольном студенческом кружке. Так что у него был шанс встретиться с целой плеядой своих вольных собратьев по интелли-

гентскому сословию, потому что тогда на стройку приезжала писательская бригада с Максимом Горьким во главе – с целью получения творческого импульса. Перед литераторами ставились две ответственнойшие задачи: воспеть рабский труд каналаармейцев и прославить мудрость товарища Сталина. И в общем они блестяще справились и с той, и с другой, поскольку все как один – гении и интеллигенты. Только послушайте, какие имена: Зощенко, Шкловский, Катаев, Ильф и Петров, Алексей Толстой, Вера Инбер, Всеволод Иванов. Впрочем, если встреча и состоялась, то никаких исторических свидетельств о ней нет. Так что мы не узнаем, помогли ли писатели Лихачёву «перековаться», или ему пришлось это делать самостоятельно.

– Это какая Инбер? – спросил, наморщив лоб, Артур. – Та, что ли, о которой Маяковский написал «Ах, у Инбер, ах, у Инбер...»?

Элла слегка нахмурилась, услышав реплику мужа, а Павел Андреевич подтвердил его догадку.

– Та самая. Маяковского, впрочем, тоже охотно причисляют к «цвету русской интеллигенции». Учítывая, что Маяковский мог на банкете запросто подсесть к любому столу, даже если люди были ему незнакомы, и начать есть из чужих тарелок и пить из чужих бокалов, возразить на это нечего.

– Не подумала бы, – сказала Людочка, – что Зощенко мог славить рабский труд. И вообще, разве это его жанр? Он же писатель-юморист!

– Вот он с юмором о Беломорканале и написал. Да вы найдите этот рассказ, прочтите и убедитесь. «История одной жизни» называется. Когда в сорок шестом году Зощенко начали травить его бывшие товарищи, он очень удивился: как же так, братцы, я же свой! Даже Сталина пытался разжалобить верноподданническим покаянным письмом. И есть чему удивляться, ведь вправду свой. Хотя по уровню лизоблюдства Зощенко, безусловно, сильно уступал другим интеллигентам: не слагал о Сталине песен и гимнов, как Глейзаров и Михалков,

не посвящал ему од, как Мандельштам, не писал о нём пьес, как Булгаков. И даже стихотворными дифирамбами не курил фимиама, как многочисленные другие мастера художественного слова, от Пастернака до Евтушенко. Куда уж ему до них, а тем более до «Красного графа» Алексея Толстого, который не только придумал тост «За Родину! За Сталина!», впоследствии ставший военным лозунгом, но и целый аллегорический роман о вожде написал по его же заказу. Да притом ещё утверждал, будто в процессе работы нашёл исторические документы, достоверно свидетельствующие о том, что Пётр Первый был наполовину грузином – это уж высший пилотаж, такое не каждому по силам! Но вот что заслуживает внимания: в те жуткие времена раболепие могло спасти от тюрьмы или смерти и при всей внешней неприглядности не всегда заслуживало осуждения. Ахматова после ареста сына тоже опубликовала сладкоречивые стихи о лучшем друге писателей, но сделала это, по всей вероятности, в надежде на некоторое снисхождение властей или хотя бы на облегчение лагерного режима. А вот, по контрасту, пример из современности. Вы слышали, как о Ельцине отзывался Гердт – был такой лицедей, если кто помнит. Не слышали? А вы поищите его панегирики, я уверен, что найдёте где-нибудь в Интернете, они того стоят. Я, любопытства ради, в своё время прочёл почти всё, что наши «инженеры человеческих душ» когда-либо написали о Сталине, но такой беззастенчивой и даже низкой лести нигде не встречал. Когда-то мне очень нравился Гердт в «Золотом телёнке»: казалось, вот как замечательно он вжился в образ! А после истории с Ельциным я осознал, что Паниковского ему и играть не нужно было – он и есть натуральный Паниковский с гусем; его просто пригласили пожить немного на съёмочной площадке...

– Я, конечно, не знаю, но, может, Гердт, говоря о Ельцине, ничего такого и не имел в виду! – возмутилась Элла. – Может, он над президентом утончённо издевался – что называется, «умный поймёт».

– Может! – весело согласился генетик и даже хихикнул от удовольствия. – Вот вам и ещё одна типичная черта интеллигенции: готовность показывать сильным мира сего кукиш в кармане и в то же самое время пресмыкаться в расчёте на милости и подачки. Это вы очень верно подметили. Показное фрондёрство – их фирменный знак, без этого никак нельзя, а то, пожалуй, соратники запрезируют. Любую власть нужно как бы ни во что не ставить – разумеется, только в том случае, когда власть слишком гуманна, чтобы дать сдачи, а особенно если она слаба или уже одряхла. Пинать беззубого льва – это «штатный» интеллигентский подвиг, всё равно как для верующего – паломничество к святым местам.

– Не слишком ли категорично? – вмешалась в разговор Людочка Боруцкая. – Возможно, кое в чём вы правы, и после переворота семнадцатого года действительно произошло вырождение прекрасных традиций русской интеллигенции. Но зачем же очернять всю интеллигенцию как сословие? Вот, например, возьмите Чехова...

Павел Андреевич, услышав о Чехове, подался вперёд и громко воскликнул с некоторым даже восхищением, так что Зинаидин спаниель Тузик, до этого мирно дремлющий в углу гостиной, проснулся и негодуя залаял.

– Прекрасный выбор, Людочка! Прекрасный! Чехов – это именно что настоящий русский интеллигент, прямо-таки хрестоматийный, о чём есть и соответствующее свидетельство другого интеллигента, Гиляровского:

Чехов и «дядя Гиляй» ехали вместе на извозчике по Страстной площади в Москве. Около овощного магазина остановились, купили завернутый в старые газеты солёный арбуз, поехали дальше. От держания холодного арбуза на морозе у Чехова замёрзли руки. Гиляровский вызвался помочь, но и сам через пять минут запросил пощады и предложил выбросить арбуз. Тут Чехов заметил городского и предложил отдать арбуз ему. Гиляровский остановил извозчика и поманил к себе пальцем городского:

– На, держи, только осто...

Чехов, перебивая Гиляровского, трагическим шёпотом продолжил:

– Осторожно, это бомба... Неси её в участок.

– Да не урони гляди! – строго добавил Гиляровский.

– Понимаю, ваш выскордие. – От страха у городского сту-
чали зубы.

На следующий день шутники узнали, что их «бомба» произвела в участке переполох. Чиновники, испугавшись взрыва, разбежались. Держась на безопасном расстоянии, собралась толпа зевак. Явились агенты охранного отделения. Вызвали офицера, специалиста по взрывчатым устройствам. Опасения были вполне понятны: в тот период террористы часто совершали покушения на государственных деятелей. В общем, интеллигенты чуть животы не надорвали, смеясь. Особенно комичен был городской с побелевшими от ужаса губами – верно, представлял себе, проклятый царский сатрап, как его окровавленные клочки оплакивают жена и дети...

– Неужели правда? – округлила глаза Людочка. – Да, поневоле задумаешься.

– А жалко, – внёс свою лепту в разговор мечтательный Володя Чилумов, – жалко, что на свете нет такой штуки, как машина времени. Хорошо было бы посадить в неё Чехова, да и подвезти, как на извозчике, на Дубровку – на следующий день после теракта. И пусть бы он там со спецназовцами пошутил – они бы по достоинству оценили его тонкое чувство юмора.

Некоторые из сидящих за столом засмеялись, представив такую перспективу, а Павел Андреевич продолжил:

– Между прочим, этот случай высвечивает ещё одно качество интеллигенции – неспособность отождествления. Я имею в виду, что можно быть каким угодно интеллектуалом, неприязненно относиться ко всевозможному быдлу, ненавидеть хамство и всё-таки, несмотря на это, остро ощущать, что облёванный бомж в подворотне – это твой брат. И даже не брат: это, в сущности, ты сам. Вы с ним растёте из одного корня, и в том,

что он обделён способностями, умом и элементарным трудолюбием, нет его вины, как нет и твоей заслуги в том, что ты щедрее одарён талантами. Но интеллигент глух к голосу крови и не чувствует родства, он видит в себе возвышенного пастыря, брезгливо несущего свет «диктатуры духа» в тупые массы. По этой логике он, само собой, заслуживает особого отношения – ведь он же лучше, чем «простые люди», ему «положено». Как подумаешь об этом, так и вспомнишь невольно академика Сахарова – вот он, такой возвышенный, такой трогательно беспомощный, расталкивает терпеливую очередь к микрофону в зале Верховного Совета, а в ответ на робкие возражения повторяет, как мантру, одну и ту же фразу: «Мне – можно!». Да уж, конечно, можно – кто бы сомневался? Интеллигенту – можно!

– А как же жертвенность интеллигенции? – не сдавалась Элла.

– И в чём она проявилась, эта жертвенность?

– В борьбе за народное счастье, наверное, – после некоторой паузы ответил Артур за растерявшуюся Эльзу, которая не смогла собственными силами достаточно быстро найти приемлемую формулу, но, услышав тезис мужа, покраснела от досады и ещё сильнее расстроилась, предвидя полный разгром.

– Это да, – с радостной готовностью не замедлил откликнуться Павел Андреевич, – они большие специалисты по народному счастью. Так осчастливили страну, что мы до сих пор опомниться не можем. Единственное, что можно сказать им в оправдание – они никогда особенно и не таились. Все их повадки были на виду уже в середине девятнадцатого века, да и дальше проявлялись вполне последовательно – то в травле Лескова, то в аплодисментах оправдательному приговору Вере Засулич, после того как эта фанатичка тяжело ранила петербургского градоначальника Трепова из револьвера-бульдога, то в бойкоте государственной думы.

– Да он же реакционер, этот Лесков, – воскликнул с негодованием Серёжа Оганесян. – И правильно ему либерально-демократическая общественность выразила осуждение.

– Чем же правильно? Объясните мне, пожалуйста. Насколько я знаю, Лесков поплатился только за то, что в своей статье о петербургских пожарах настаивал на независимости следствия и требовал освещения всех версий, отрабатываемых полицией. Всех – значит и той, что пожары – результат намеренного саботажа революционно настроенных студенческих кругов, и именно это допущение вызвало гнев интеллигентов – как же, «наших бьют»! Истина интересовала Писарева и его соратников, бойкотировавших Лескова, лишь постольку поскольку – главное, чтобы все демократы шагали в ногу. Поэтому чересчур независимый журналист, не разделяющий негласного сословного устава, заслуживал, по их мнению, обструкции и звания «злостного ретрограда». Я считаю, что либеральная цензура, освящённая клятвами в верности идеалам, несравненно гнуснее любой казённой, и эта история – не что иное, как иллюстрация полного отсутствия у интеллигенции качества, которое Ницше называет «интеллектуальной совестью». Посмотрите с этой точки зрения на любые нынешние «высоколобые» теледебаты – там всё то же самое, ничего не изменилось.

Серёжа Оганесян вконец рассердился.

– Вас послушать, – заявил Серёжа, – так достойных людей и вовсе не бывало, ни в наше время, ни раньше.

– Отнюдь! – возразил Павел Андреевич. – Я всего лишь утверждаю, что «интеллигент» не есть синоним «достойного человека», а пожалуй, что и наоборот. Что касается вырождения традиций после семнадцатого года, Людочка, то здесь, мне кажется, всё обстоит несколько иначе. Ведь само это слово стало употребительным только в девятнадцатом веке, причём, заметьте, что никто из выдающихся представителей национальной культуры того времени не считал и не называл себя интеллигентом – ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь, ни Достоевский. Иные из наших талантливых современников тоже отнюдь не любят, когда их называют интеллигентами. Лев Гумилёв, например, однажды очень оскорбился таким эпитетом: «Какой я вам интеллигент? У меня профессия есть!»

– А вам не обидно будет, если русские интеллигенты переведутся? – спросила Людочка. – Всё же уникальный российский феномен. Каким бы ни было это явление, не обеднеем ли мы, если оно совсем исчезнет?

– Э, Людочка, бросьте! Что в нём уникального? За границей полно своих интеллигентов – правда, они себя так не называют, но ведь не в названии же суть, верно? Вот хотя бы Энрико Ферми. Вы же знаете Ферми?

– Ну не так, чтобы лично была знакома, – надула губки наша белокурая бестия, заподозрив генетика в стереотипных предрассудках относительно красивых блондинок, – но слышала что-то такое. Про атомную бомбу и Нагасаки с Хиросимой, ага. Припоминаю смутно.

– Не обижайтесь, Людочка, просто это очень важно, что именно про Нагасаки с Хиросимой. Знаете, что сказал Энрико своим более щепетильным коллегам про испытание атомной бомбы на живых мишенях? «Не надоедайте мне с вашими терзаниями совести, это всего лишь прекрасная физика». Законченный интеллигент, вы не находите? До того как эмигрировать в Соединённые Штаты и принять участие в Манхэттенском проекте, «его превосходительство член Королевской академии Италии», как в то время величался Ферми, был обласкан дуче и ни капельки не жаловался на «свинцовую мерзость» режима, оказывающего ему множество знаков внимания. Впоследствии учёный разыграл «антифашистскую карту» и стал считаться чуть ли не политическим диссидентом, бежавшим из страны в знак неприятия «расовых» законов тридцать шестого года. Но хронология событий внушает сомнения в достоверности этой версии. Уже в тридцать седьмом году, то есть много позже введения новых законов, Ферми обратился к Муссолини с просьбой об организации под своим руководством Института ядерной физики. Проект был отклонён, и, кстати, вовсе не потому что дуче перестал покровительствовать Энрико, а лишь из-за чрезвычайно масштабных, по тогдашним понятиям, требований к уровню финансирования – и

только после отказа в государственных дотациях Ферми внезапно становится невозвращенцем и просит политического убежища. Кошелёк у новых покровителей интеллигента был, бесспорно, толще – Италия едва ли могла конкурировать с Америкой в области капиталовложений в дорогостоящие научные проекты. Но если бы, паче чаяния, итальянские власти в своё время всё-таки согласились поддержать начинание Энрико, то первыми получателями авиапосылки с «прекрасной физикой» внутри, возможно, стали бы не японцы, а жители одного из городов Восточной Европы. Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать.

– Вы нас не убедили! – воскликнул Оганесян. – Нисколько не убедили!

– Да я и не задавался такой целью, Серёжа, – ответил Павел Андреевич очень примирительно и даже как-то ласково. – Но вы меня выслушали, и я вам за это очень признателен – а ведь настоящий интеллигент и слушать бы не стал! Впрочем, – добавил он, немного помолчав, – я уверен, что, несмотря на некоторую разницу в мироощущении, общего между нами гораздо больше, чем разделяющих мелочей.

Последние слова генетика заставили Оганесяна бросить взгляд на Зинаиду, которая, слегка нагнувшись, меняла компакт-диск в проигрывателе и, в этой позе, одетая в короткое облегающее платье из красного трикотажа и чёрные чулки, выглядела просто сногшибательно. Кто знает, о чём подумал в тот момент Серёжа, но он, во всяком случае, не стал продолжать спора, а тихо покачал головой и промолчал. Да и вообще все немного подустали от конфронтации и поэтому вздохнули с облегчением, когда Зинаида включила наконец какую-то Чумбавамбу и объявила, что вынутый из духовки десерт опоздавших ждать не будет. На том всё и успокоилось и уже до конца застолья было хорошо и безмятежно. Генный инженер всё-таки рассказал Людочке, почему он принципиально не верит в мир без страданий, развеяв у неё всякие сомнения насчёт угрозы для человеческой нравственности в связи с за-

вершающейся работой над геномом. И даже куда более дружелюбные, но всё ещё содержавшие изрядную долю яда иронические реплики начавшего трезветь Серёжи Оганесяна, не столько отравляли застольную атмосферу, сколько придавали ей приятную остроту. Тем и закончился этот вечер, а вскоре, как и следовало ожидать, жизнь пошла по накатанной, и даже Серёжины визиты к Зинаиде не замедлили возобновиться, в чём я всего лишь через несколько дней мог убедиться лично, возвращая позаимствованный у неё ранее зонтик. Поспешно выскочивший из прихожей Серёжа чуть не столкнулся со мной на крылечке, напоминая лицом кота, обожравшегося сметаны, что уже само по себе было достаточно красноречивым свидетельством. Можно также предположить, что практическое примирение сторон заняло более длительное время, чем планировалось, поскольку я заранее предупредил хозяйку о времени своего прихода, а Оганесян достаточно бережно относится к репутации Зинаидиногo мужа и предпочитает не мелькать рядом с нею, чтобы не давать знакомым повода для сплетен. Честно говоря, я бы и не знал о Серёжином романе, если бы сама Зинаида не давала мне подробных и порою довольно откровенных отчётов – как, впрочем, произошло и на этот раз. Кстати, во время нашей последней встречи она утверждала, что Оганесян оказался более восприимчив к идеям инженерного генетика, чем могло бы на первый взгляд показаться, во всяком случае, он совершенно перестал называть себя интеллигентом и даже невольно морщится, если его называют так другие люди, хотя и не высказывает своих возражений вслух.

Григорий БРАЙНИН

Донецк

ИСТОРИЯ ОДНОГО КОЧЕВЬЯ

Есть авторы, которые стремятся не столько приоткрыть вход в зазеркалье художественного мира, сколько прямо со входа дать на-гора целые вагоны смыслов. Таков донецкий поэт Григорий Брайнин. В историю современной донецкой литературы, если её когда-либо удастся зафиксировать, Брайнин не вошёл, – въехал: тоненький сборник стихотворений «Перевоз», отмеченный предисловием Натальи Хаткиной, вырос из сора и отходов промышленного города.

*Набросай мне место своей судьбы –
это Город.
Пруды натягают овалы глянца.
На чёрных винтах
набухают сланцы,
центр тяжести выбрасывая из шахт.*

Впрочем, отношения поэта с занимаемым пространством всегда были сложными: культурные центры – Москва, Питер – пленили, но питал и точкой опоры являлся всё-таки Донецк. Здесь впервые возник навечный двойник Брайнина – Алексей Парщиков, – одноклассник-классик, один из крупнейших современных поэтов.

Спустя десятки лет, разбросанные огромными расстояниями, Парщиков и Брайнин всё же не разорвали своей первоначальной связи; она отчётливо проступает в общности поэтической манеры (можно сравнить стихотворения двух поэтов о Святогорске) так, что становится очевидно: не было бы одного из них – никогда бы не появился другой.

Вероятно, что автор «Перевоза» расстояние, как и любую другую физическую величину или явление, понимает метафизически. Плотность метафор как бы разрывает изображаемое изнутри, стремясь познать его устройство и суть:

*Мне кажется, что мир живёт во мне –
течёт река, по зеркалу на дне
моей души, в поверхности двоясь,
проложена блистательная связь
между вещами.*

Такое художественное мировосприятие сложно втиснуть в рамки существующих методов, пусть даже это метафизический реализм в поэзии или «метаметаморфизм». Да и зачем, если автор сам поставил диагноз собственному творчеству?.. Брайнинский диагноз звучит скорее как приговор: культурный дебилизм. Для изумлённых читателей поэт поясняет: «Вообще дебилизм – некое первичное свойство, позволяющее увидеть мир в неких первозданных формах, вне культуры; это вершина авангардного отрицания. Дебил – очень добрый; человек, который любит всех. Он не имеет культурных отсылок, всё воспринимает первозданно» (Дикое поле, №13. – 2009).

Типичная донецкая среда, так мало способствующая произрастанию в ней чего-либо всерьёз литературного и вопреки этому всё же дающая больших поэтов, никогда не была озабочена размером порождаемых талантов. Почти так случилось и с Григорием Брайниным. После «Перевоза» он замкнулся от собственной творческой энергии и ушёл в область физических исследований.

Но судьба всё же вела его, поселив автора единственной книжицы в символическом месте – через дорогу от филологического факультета. Думается, что анализ акустических явлений вырос из напряжённого поиска собственного поэтического ритма, звука, густой и шероховатой фонетики. Потому и в убийственно прямое признание: «Я сейчас ничего не пишу», – никогда не могло повериться.

Сейчас, когда не стало Парщикова, когда ушла Хаткина, Брайнин остался едва ли не единственным, пусть и одиноким, но волком донецким в пространстве нашей словесности.

Мария Панчехина
Донецк («Камбала» -2012)

Карадаг

Он остался лежать корневищем вверх –
экспонат из крабьей молельни,
он, как рыба, хотел бы поставить всё на ребро,
но ошибся, наверно.

Тогда сквозь щели в земной коре,
теснясь и уродуясь,
вышли и выстроились в каре
все эталоны живой природы.

Базальт, затвердевший со слепками моря, искал
бы системы иной, но пока
в анатомическом атласе скал
забальзамировал нам потроха.

А ты сидишь — виски в коленях,
курортная дура,
и ищешь в моем солнечном сплетенье
яшму в цвет маникюра,

и пляжник, размазанный качкой и газом
вдоль борта прогулочного корабля,
защелкнул в «Зените» живой образчик
окаменевшего бытия.

* * *

Когда твое имя пульсирует между моими висками
подобно электрической дуге –
оно тяжелеет, как камень в руке.

Но мне дороже другое:
если в сумерках, чтоб не спугнуть,

коснуться его губами и попробовать языком –
оно мягко и терпко чуть-чуть.

А если глотнуть:
как гранатовый сок одевает в бархат гортань,
чтоб барахтался звук, не покинувший полости рта,

то во внешней среде твое имя равно тишине,
оно стягивается в точку
и мерцает во мне.

От энергии звука пузырьки легчайшего газа
возникают в крови –
это смертельно для водолаза,
летащего ввысь.

* * *

Н.Д.

...Парит.
Я недоброе что-то предвижу в грозе.
Эта осень особенно больно ранит.
Быть беде.

Твои несбывшиеся косы под дождем седеют,
и дождь не смывает одежду и стыд, как усталость.
Хочется верить: дождь опять что-нибудь да посеет,
передвинув земную ось на исчезающую малость.

Философские камни произойдут из леса,
сухая трава простит твои обещанья
и вернет земле затаенный шелест,
соразмерившись с ее дыханьем.

Мне, кажется, не суждено больше улыбаться,
когда тополя раздали последние перья:
для них это всего лишь осенняя забава,
но куда денутся оставшиеся звери?

Я к их шкурам промокшим прикасаюсь губами,
и соленые капельки холодят губы.
Это ты затеяла всю эту вселенскую баню –
что теперь будет.

На кухне

В кухонном сумрачном пространстве,
где город, скрученный в рулончик
от домофона к колонке,
прикатан к кафельному гляncу,

где стрелки газовых ключей,
сойдясь, показывают полночь,
я навсегда тебя запомнил
в засаде колющих вещей.

Ты чистишь цинкового карпа,
к нему ножом проводника
коснись – пузырящейся калькой
текут нули в твоих руках.

Еще живет мираж ножа
на приоткрытых створках тела,
когда из тающего мела
выходит в дымке дирижабль.

По локоть ты в контактах линз,
пока жемчужная изнанка
пускает мутные нули,
похожие на водяные знаки.

Приоткрывая Зазеркалье,
текут неясные глаза,
в них кухня кафелем сверкает,
загустевая в тормозах,

и в рыбе гаснет амплитуда,
съезжая в юз небытия,
в сковороде вскипает блюдо,
напоминая шум дождя.

* * *

Вот сквозная зимы пустота:
вороньем изрешечено небо,
и бесконечной поверхности снега
измельчает осколки слюда.

За окном ничего, кроме дня,
лишь, как семечки черные, птицы
суетятся, как шрифт на странице,
поднимая осадок со дна.

Это черные ангелы сна,
на деревьях зимую, как дыры,
отворяют астральные тиры,
когда глянешь на них из окна.

Если б точно попасть ты смогла
в этот сгусток исходного мрака —
разорвавшись коробочкой мака,
брызнет в небо начальная мгла.

И поднимется грей на крыло,
чтобы вмиг помутнеть и исчезнуть,
высекая из воздуха бездну,
как удар в ветровое стекло.

Анна ЛУКАШЕВА
Донецк, («Камбала» -2012)

МАКИЯЖ

Всегда по утрам она стояла перед зеркалом и привычными движениями выщипывала брови. За спиной храпел Пиндос Степаныч (вообще-то он Григорий, но так она его не называет уже лет двенадцать). Она ткнула пальцем в коробочку с освежителем воздуха, чтобы перебить стойкий аромат мужа. Этот назойливый запах выводил ее из себя. Смесь бензина с перегаром – то, чем пахнет каждый профессиональный водитель. Но если к этому добавить термоядерные духи подружки Любки, от которой сегодня ночью он вернулся, получится то, чем она дышит последние годы. Да! Еще примешивается запах больницы. Там в физкабинете работает «большая Любовь» Пиндоса – толстая Любка. А он ездит к ней два раза в неделю на «процедуры».

Она открыла баночку с кремом и начала мелкими движениями растягивать это дорогое удовольствие по лицу. Когда обручальное кольцо вросло в палец, обычно считают, что семейная жизнь удалась. Ей было поздно думать о смысле совместного существования, даже в самом лучшем случае две трети его было уже за спиной. Там же за спиной что-то пошевелилось и пнуло ее грязным носком в белоснежные бикини.

– О, новые трусы! А чё я их раньше не видел? – просипел Пиндос.

– Это парадно-выходной вариант, а те, которых достоин ты, лежат в мусорном пакете. Будешь выносить – полюбуйся.

Он даже не стал материться, после вчерашних «процедур» болела голова и пересохло в горле.

– Слышь, Нинка! На стольник, сгоняй в ларек за пивом. Как обычно полтинник твой.

– Ща! Во-первых, не Нинка, а Нина Ивановна. Во-вторых, где это видано, чтобы зав. финотделом бегала за пивом всего за полтинник?

– Ну, так на прошлой неделе махнула, как гончая.

– Тогда было еще пять дней до аванса, и я была исполняющей обязанности.

Она неспешно наносила тональную основу и вспоминала, как вчера «обмывала» новую должность с тем, кто устроил ее карьерный рост за два года до пенсии. Престарелый мэр подливал шампанское и гладил ее по спине, стараясь ненароком расстегнуть бюстгальтер, пускал дым в усы и рассказывал, с каким шиком похоронил жену. Вспоминала, как схватил ее за руку, так, что хрустнули все суставы и у него и у нее, как прохрипел на ухо: «Ниночка, бросай своего козла и переезжай ко мне. Если я умру первый – ты меня похоронишь, если ты – то я сделаю все по высшему разряду». Она обещала подумать, но уже давно решила, что лучше пусть обеспечивают вдвоем. Тем более квартира после ремонта – делить, кредит...

Она сделала акцент на глаза, все-таки теперь начальница. Уже вырисовывалось ее «рабочее» лицо, когда сзади раздались непонятные звуки – это Степаныч тяжело глотал остатки слюны. Она скорчила рожу, а затем ехидно улыбнулась потому, что недавно развела Пиндоса на 200 гривен. Еще весной купила себе кардиганчик и все прятала. А тут был «процедурный день», вернулась без страха домой, а он уже режет сало. У Любки померла тетка.

Рассказ созрел мгновенно: «Ты сам мне утром сказал, что будет жарко, вот я и выперлась в тонкой кофточке, а к обеду пошел дождь. Позвонила Юлька, ну рыжая из канцелярии, ты помнишь, сказала в нашем подвальчике распродажа. Я присмотрела себе вот это. Стоил 380 – сбросили до двухсот. Я заняла у шефа, завтра нужно отдать». Он молча достал новенькую Лесю и положил на стол.

– Нинка, ну, будь человеком, сгоняй за пивом. Сдача – твоя.

Рука дрогнула, и тушь сделала зигзаг – нужно аккуратно убрать.

Она молча взяла деньги и достала из холодильника бутылку светлого, которую вчера заготовил Пиндос, но благополучно забыл.

В выпускном классе он катал ее по селу на мотоцикле. И мама тогда сказала: «Доця, ты у меня не самая красивая конфетка, не выламывайся, пока берут – иди, а то потом спроса не будет». Как же они ошибались – и мама, и этот хренов мотоциклист-суперблонд: два десятка баночек косметики, каблучки повыше, декольте пониже – и ее уже хочет похоронить сам мэр.

Когда все было готово, она сказала «красуня» и сделала завершающий чмок. Это означало, что все вышло безупречно и вот именно такой она себя любит.

Осталось пятнадцать минут для ритуала – попить кофе.

Стразы на кофточке отражали утреннее солнце и всем своим гламуром болезненно резали по глазам Пиндосу, который уже хлебал вчерашний борщ.

– Ну что, курва, снова вырядилась?

– Конечно. Не могу же я ходить по три недели в одной рубашке, такое испытание только для настоящих колхозных мачо.

– Нинка, что ты все издеваешься, тут голова болит, сил нет.

– Бухать меньше надо!

– Дура ты! Я вчера был в больнице...

– На «процедурах»?

– Дослушай, гадина. Рентген сделали, сказали – гайморит, даже в лоб что-то пошло...

– Я всегда знала, что у тебя в голове одни сопли!

Пиндоса перемкнуло, он не нашел, что ответить, и выплюнул борщ в ее размазанную рожу.

Она захлебнулась от злости. Такой макияж – полтора часа работы!

Теперь заново делать лицо.

Анна РЕВЯКИНА

Донецк, («Камбала» -2012)

Анна Ревякина – поэт, родилась в 1983 году. Доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета, кандидат экономических наук. В 2013 году стала обладателем премии «Творческая молодежь Донбасса» в номинации «Поэт года». Автор двух поэтических сборников – «Сердце» (Донецк, 2011), «Untitled» (Киев, 2012).

«Я абсолютно уверена, что есть некая точка пересечения между миром здешним, визуальным и поэтическим. Её можно ощутить на собственном опыте: есть тексты, которые умеют случаться, независимо от автора. И как-то интуитивно – шестым ли, седьмым ли – улавливаешь: стихи – это не механика, а органика; из себя рождаемое, вполне телесное, имеющее звуковую и смысловую оболочки. Словом – живое».

А.Р.

Песенки для Сашеньки

1.

Чудеса зарождаются не в решете,
а где-то в районе малого таза.
Выписывают кульбиты, примеряют души и строят планы.
– Я обязательно появлюсь, первое, что скажу: «Mother».
Может быть: «Mutter», а, может быть, русское: «Мама».
Для этих чудес готовят рюши, комнаты и имена предков,
хотя они согласны случаться
без всех этих взрослых странностей.
Маленькие, проворные, встречающиеся клетки –
решение проблем вечности и одинокой старости.
Чудеса появляются ближе к утру,
нарушая тикающую тишину,
открывают глаза впервые под яркой лампой,
не шурясь даже.

Ещё помнят, как Он ласково трепал по затылку:

«Я провожу!»

– А как меня назовут?

– Мама вчера настаивала, что Сашей.

Чудеса остаются с нами, целуют в ухо мокро и горячо,
болтают вздор, ногами болтают

на стуле высоком, не падая.

А вечером устало ложатся щекой на грудь или на плечо
и просят долго рассказывать, где начинается радуга.

2.

От меня у тебя почти ничего.
Россыпь точек на тельце и мысли,
синий штампик донецкой прописки,
в коридоре скупые записки,
вся коллекция дареных кисок
на камине, комодах, трюмо.

Я забыла, ещё у тебя
от меня безупречные чувства,
нелюбовь к подгоревшей капусте,
томик мыслей астматика Пруста
и весёлость, которой без устали
донимаешь домашних, как я.

Больше нет ничего, даже жаль...
Кроме разных ласкательных прозвищ
и на коже чернильных сокровищ:
Muttermal,

Muttermal,

Muttermal¹.

¹ Das Muttermal (нем.) – родинка.

Если переводить дословно: Mutter – мама, mal – раз.

3.

Идеальный сын – это всё-таки дочь.
Поиграет в посудку, мелки толочь –
будет вкусно в пластмассе варить супы.
На запястье браслеты из найденной чепухи.
Куклу в клетчатом платье выведет погулять.
Идеальный сын – это дочка, которой пять.
Не боится ничуть щекотки и темноты,
может ляпнуть гостю: «Хороший ты!».
Засмеяться, увидев бабочку и щенка,
расплатившись купюрой сорванного листа
за колечко из проволоки и брошь,
закатить глаза: «Слишком дорого отдаёшь!».
Заменить на пуговики взгляд фиолетовому коту,
заменяла бы и настоящему – на слепоту,
чтобы точно понять устройство чужих планет.
Идеальный сын – это дочь в восемнадцать лет.
Из безделиц складывается наряд,
про неё то бездельница, то красавица говорят.
Кислород из воздуха вышел в дождь.
Добротой ли плавают людскую злость?
По ночам на пальцах – арпеджио для иглы.
Идеальный сын – это дочь и её стихи.

4.

Насекомое на искомой снеди.
– Кыш, зелёная! Лето в зените.
Слышно, как коронуют дети
через форточку девочку Риту.
– Bitte, Fräulein! – это уже дед Ваня.
Голос выкурен и откашлян в руку.
– Ритка, бабкина обезьяна,
быстро в дом, помогать старухе!
Воскресенье плавится за гардиной,
кружевные блики поймали спальню.

Рита медленно водит мимо,
 собирая время фольгой сусальной.
 Пыль взлетает мухами до карниза
 и, как звёздный дождь, оседает на пол.
 У Эдит не голос, а хриплый вызов,
 проникает в горло подобьем кляпа.
 Рита – тюлевый пыльный космос
 и катушка, стащенная с веранды.
 Через месяц с лишним наступит осень,
 отбивая запахи снов лавандой.
 И трусцой дождя запотеют стены,
 виноград нальётся конфетным вкусом,
 а зелёной смазанные колени
 спрячет зябкий вечер в ладонях узких.
 С рукавами кофты и книжный список,
 лето спичкой чёрной истлеет в стёклах.
 И опять то музыкой, то английским
 коротать вечера, без того короткие.
 Но пока что лето у Риты в клетках
 кружевами пыльными кожу пенит
 изнутри, и кажется, что Вселенная
 говорит с ней голосом поколений.
 У Эдит не голос, а средство круга.
 Дед заходит в комнату, смотрит цепко.
 И бурчит: «Иди уже, там подруги,
 заждались, горластые восьмилетки...»

5.

Молочный зуб на нитке.
 – Давайте дверью!
 Прощанье с детством.
 – Ходи за мной!
 Так мало у меня к тебе доверия,
 так много сил заискивать.
 – Постой!

Дай мне ещё хотя бы две минуты,
я сосчитаю медленно до ста.

Молочный зуб на нитке для Анюты
почти что равен смерти...

– По местам!

Ты оставайся здесь, а я войду без стука.
Не будет больно.

– Страшно!

– Потерпи.

У тишины квартирной много звуков:
вода, часы, скрипучий ход двери
и грохот поскакавшего под плитус.
Солёный вкус, две дырочки в десне.
Молочный зуб. В графе поставим минус,
но сохраним в коробочке, на дне.
Там, где уже лежат словарь, пряжка чёрных
волос и бирочка зелёная с запястья.
Молочный зуб – реликвия, бесспорно,
беззубого ребяческого счастья.

6.

Клетка вафельных полотенец,
перестиранных добела.
В доме снова кричит младенец
и глазами следит сова.
На цепочке повисли двери.
– Кто там? Мы никого не ждём.
Под порогом ночуют звери,
сторожат деревянный дом.
Если выйти в ночи на воздух,
воздух делается густым.
Впереди ползимы морозов
из старинных тревожных зим.

Ещё будет крещендо ветра
и крещение январём.
Мне почти всё равно, что где-то
существует дверной проём,
занавешенный густо марлей
от назойливой мошкары,
а пушистый усатый варвар
отирается у плиты.
В нашем доме опять младенец,
за окном слюдяная мгла.
В стопке вафельных полотенец
нет линованных для меня.

7.

Мальчик, согнувшись над словарём
с неподъёмными, английскими словами,
управляет невидимым кораблём
с бирюзовыми парусами.
Ветер развеивает его волосы – ржанные,
пахнущие йодом и пылью,
треплет щёки, в полотнищах крыльев
шепчет на легко-дающемся-всем-мальчикам языке
О пиратах, бурях, сокровищах, странствиях.
Мальчик-паинька, сидит смирно, честно водит
по буквам пальчиком.
И учит ненавистный, взрослыми общепризнанный.
– Мамочка, спроси меня, как это будет на капитанском.
Мамочка, не ругай за плохо выученный английский.

8.

Я тебе не тычу под нос свою непохожесть,
не сую в карман, под локоть, в ладошку пальцы.
Ты – бессонный допинг земных страдальцев,
амплитуда крупной коленной дрожи.

Ты – мой самый строгий экзаменатор,
надсекаешь воду: «О чём ты пишешь?»
У тебя такие глаза, мальчишка.
У меня из сердца конгломераты,
обобщённость точных теорий боли.
Я стихи читаю трём сотням хмурых –
вся сумбурность мыслей под страхом пули
из точёных линий, ворсинок фальши.
Я пишу стихи для тебя, не дальше!
Не одобришь – пепел, одобришь – сборник.
Из кругов во мне нарастают волны
от твоих камней, близорукий мальчик.

9.

Между креслом и стулом – лава.
Сыновья, заливаясь дружно,
устроили переправу.
Уже сорок минут, как дружат.
Пол скрипящий их жаром лижет,
пыль вокруг вековая вьётся,
в ней пружинящие мальчишки.
– Тише, бабушка вдруг проснётся.
Два угла уже плачут просом,
и ремень подползает коброй.
У них будет протечка носом.
Мы разделимся: злой и добрый.
И накажем обоих вместе:
– Ты за дело, а ты за брата!
Они выглядят в гулком детстве,
как нашкодившие котята.
От площадки и до рогатки –
всё невинно и всё виновно.
Их курносые в детстве пятки
скоро станут черствы и ровны...

* * *

Дождь идёт, закрывайте двери.
 Es regnet¹.
 Как немецкий пёс, нога к ноге со своей хозяйкой,
 дождь бежит, выкладываясь мозаикой,
 по берлинским улицам под слоями граффити,
 оседает пеной, как будто накипью,
 на решётках стоков, молочно-серой.
 Дождь идёт, закрывайт – es regnet!

ГОРОДА

Город До

Это такая вечная субординация –
 ты мне не пишешь, а я не смотрю ниже пояса.
 Путь пролегает через чужие станции,
 но далеко от шпиля верхнего полюса.
 Вот бы рвануть туда по крутой параболе.
 Ты – мой мыслитель в пернатом облике.
 Там, в Заполярье, прилечь на всю ночь полярную
 и тосковать, глядя на столб термометра.
 Мы бы считали крошки в кармане ватника,
 перебирали пальцами – для моторики.
 Я бы тебя звала соловьём-развратником
 за поцелуи на узеньком подоконнике.
 Но ты мне не пишешь, а я не смотрю ниже болтика
 джинсов твоих, брожу по пунктиру свитера.
 Там, в Заполярье, невиданная эротика,
 а в Городе До октябрь с его политикой.

¹ Es regnet (нем.) – идёт дождь.

От трапа самолёта начинается провокация –
истончается субординация.

Амстердам – это прямо на мозге открытая операция,
балансировка нового радио.

За один раз «всё включено» около восьмидесяти евро.

Среднестатистическая фрикция – пятьдесят центов.

В красном окошке рукастая силиконовая Венера
зарабатывает арендой.

Город не оставляет шансов уехать,
не примерив чужие вещи.

Не прикоснулся – не был, держался – в стирку.

Он штампует истины – умелый фальшивомонетчик,
но тебе разрешает быть немного не под копиру.

Амстердам – это словно высоко в горах,
не хватает воздуха.

Ноги – пряди сложной причёски, скрученные жгуты.

Только заснул-проснулся – и уже поздно.

Проснулся, а в зеркале какой-то новый,
совсем не вчерашний ты.

И даже лебеди отчего-то облюбовали именно эти воды.

Ныряют, прячут голову под крыло,
разговаривают по-птичьи.

Амстердам – кланяющиеся узкие домики, мятая непогода
и трансы с глазами совсем (навсегда) девичьими.

Ты теперь этому городу будешь предан, осколок в ухе,
даже музыка из наушников пахнет жжёным.

Этот город честен – всезнающий глас старухи.

И настойчив, как живущий в каждом ума лишённый.

Ирина БАУЭР
Донецк, («Камбала» -2012)

СЛЕПАЯ ЗВЕЗДА

Да будут их души присоединены к хранилищу жизни

По ночам я ни на минуту не остаюсь один, хотя прячусь в густых травах и тихонько в такт ветру пою об армии вечных.

– Твоя любовь к звездам замешена на крови, – повторяет мой сосед.

– А разве бывает любовь на крови? – всякий раз задаю я ему один и тот же вопрос.

Я не просто созерцаю звездное небо, я пристально вглядываюсь в лица тех, кому волею судеб дано право отразиться в необъятной Вселенной, превратившись в желтые звезды. Мой сосед, покидая очередной подземный лаз, который он прокладывает с завидным упорством, осыпает меня упреками.

– Ты упустил свой шанс стать желтой небесной звездой, и всему виной твоя жадность!

Так брызжит мой сосед и при этом нервно комкает носовой платок: сквозняк в подземных лабиринтах сделал свое дело. Мой сосед носит в себе вечный насморк. Его насморк – это плач по жизни, разорванной на фрагменты, по смерти в один выдох, его насморк – это та боль, которой поделилась с ним его многочисленная родня.

Как так могло случиться, что моя мама, моя замечательная, крутобокая, рыжеволосая, с крупными глазами и божественно белой кожей, умная, всевидящая мама влюбилась в моего отца – комиссара одной-единственной конной на земле? Лошади конной так отчаянно гадили, комиссар так крепко пил и плясал в перерывах между боями, что непонятно, когда он успел попасть в кровать к маме! И в результате, как сказал мой дядя Даян, получился еще один «еврейчик» сомнительного происхождения. Комиссар не щадил

ни родных, ни чужих. Даян упрекнул маму в неразборчивом отношении к собственному царственному телу, которое не должно лежать, по мнению дяди, в общественной постели. То, что комиссар принадлежал одновременно всем и никому в частности, было ясно лишь дяде, который не понимал, почему этот факт так волновал и будоражил мою маму, воспитанную в лучших традициях верующих хасидов. Отец затерялся в коридорах бесконечных расстрелов и дознаний, оставив шикарную квартиру, маму в шелковом кимоно и домработницу Ньюсю, которая шпионила за нами. А потом была война, потом мы все полетели в огромный котел чужих амбиций, благодаря связям Даяна скрылись, заматавая следы в многочисленных сотах плодовых хасидов, передававших нас от одной семьи к другой, точно приз за стрельбу неуловимого комиссара. Примеряли сапоги и шинели еврейские мальчишки. Я не знаю, сколько лет прошло с тех пор, но я все еще живу любовью к маме, отцу, Даяну, потому что все еще ощущаю иссушающий, болезненный голод, который преследует меня, – голод одиночества.

А еще я люблю цирк. Я вглядываюсь в летящих гимнастов, с жадностью вслушиваюсь в туш. Люблю трогать грудь гимнастки Симы, когда она висит на трапеции, и в свете софитов касаться ее сильного, полного женской страсти тела. Я – ожог, я – скользящая яркая звезда, купол цирка – та единственная высота, которую я могу взять, разорвав цепи земного притяжения. И когда я расслаиваюсь огнями, когда вспыхиваю множеством звезд, венцом огней я кружу над ее головой, а публика замирает от восторга. Я знаю цвет ее трусиков, и как приторно пахнут подмышки, как густо потеет белый пах, когда порхают ее пальчики по ладному телу. Для Симы звездный ураган заменил облака и звезды на небе, пышным узором касаются они ее лба, когда, закончив выступление, сидит она на скамейке в парке, мечтательно щурится, вдыхая терпкий запах летнего города.

– Сима, ты так прекрасна! – шепчу я ей на ухо.

– Ты зачем это делаешь? – спрашивает сосед. – Ты вскружил славою голову девочке. Но тебе этого мало!

– Ради любви я готов проснуться.

– Какой любви? Посмотри, что ты сделал с городом! Ты перекрасил траву в розовый цвет, задвинул старый террикон за горизонт, остудил солнце, чтобы оно не жалило Симу. А дождь? Даже дождь спрашивает у тебя разрешения смыть пыль с тротуаров. Ты видишь сны! Это полный абсурд, это бунт против сложившейся традиции нашего молчания. Тебя волнует восход солнца, переменчивость луны. Тыходишь с ума. Тебе всего мало, ты ненасытный!

– Я еще так мало сделал для Симы в этой жизни.

– Ты занимаешься примитивной подменой, ты пытаешься подменить реальность нашего существования иллюзией человеческой жизни.

– А ты жестокий, – отвечаю я.

– Жестокий? Н-да, не думал я, что ты так далеко зашел. Я хочу тебе помочь, я хочу, чтобы ты вернулся к нам.

Я не один, я окружен друзьями. Я называю себя человеком, а тот, кто роет туннель под землей, называет меня уродливой пародией на человеческую особь. Нас здесь много: кто-то из нас остался пеплом крематория, кто-то ночами бродит вдоль узкоколейки, проложенной в Белом карьере, еще один мой приятель вообще, как птица, взхлеб распевает песни и, стоит мне только приблизиться, как опрометью бросается наутек, неловко размахивая руками. Что же касается меня, я разлегся во весь рост без стыда и совести, обхватив планету руками. Ноги мои в Варшаве на ее булыжной, до боли знакомой мостовой, а руки до самого Киева тянутся, сердце же стучит в такт маршу туш местного цирка, построенного на месте последнего свидания мамы и Даяна. Дерево, под которым они поспешно заснули, по-прежнему сорит листьями и не покидает пост, как сторож чужих поцелуев.

Наш ученый утверждает, что свет звезд идет к нам тысячу лет, и мы видим в ночном небе не сами звезды, а их обра-

зы. Угаснут одни, родятся другие, а мы не узнаем. И только в просторах Вселенной неизменной остается одна категория планет – желтые звезды. Он не может объяснить, как они там оказались.

– А все ты! – кричит мне человек-птица. – Это твоя работа. Сам не можешь улететь, так нам не мешай!

Эти звезды – нашивки на одежде тех, кто унес их с собой в небо, нашивки еврейского гетто, знак истребления человека человеком!

И только я, не прощенный на небо, забытый на земле, остался вне времени большой слепой звездой, лежу нагой в траве и узнаю маму, Даяна, моего отца в каждой желтой звезде. Можешь себе это представить? Нет? Тогда внимательно взглядишь в небо, и, уверяю тебя, ваши глаза встретятся!



Евгения КОМАРОВА

Бохум

Поэт, переводчик

Письмо другу – II

П.Д.

Мы говорим на птичьем языке –
почти ничьём, понятном лишь немногим,
споткнувшись на временном пороге,
раздвоенным в пространстве и в тоске.

Мы говорим на горьком языке
себя у цели мнивших пилигримов,
когда не Храм, и даже не руины
открылись им, а лишь мираж в песке...

Мы говорим на тёмном языке
халдеев, чернокнижников, изгоев,
меж чёток слов читающих иное –
черты судьбы, грядущей вдалеке.

Мы говорим на мёртвом языке,
и сами – то ли небыль, то ли нежить...
Но как же тонкой жилкой бьётся нежность,
когда прильнёшь к слабеющей строке...

Театр теней. Иешуа

Ну вот и нисан, и первый пасхальный Седер,
А нас за столом тринадцать (ох, не к добру!)
Лица невеселы. Вяло течёт беседа.
Мне нужно собраться. Я знаю, что завтра умру.

Чему суждено свершиться, должно свершиться...
(О, только б сдержаться! Не измениться в лице!)
Эта история белыми нитками шита,
И я не уверен, что будет достигнута цель.

Искупление – липкое слово. Словно по смете,
Принимается жертва в уплату суммы грехов.
Но разве можно за жизнь рассчитаться смертью,
Как меняла за сребреник пригоршней медяков?

Неужто, Отче, с людьми нельзя по-другому?
(Из этой же чаши, помнится, пил Сократ...)
Ни один из вас не пойдёт со мной на Голгофу,
Ни один не узнает, когда я вернусь назад.

Храм разрушен давно, и новый будет едва ли,
Зато расплодилось торгующих, будто тлей...
В Гефсиманском саду сегодня опять стреляли...
Не пойду я туда, пожалуй... Иуда, налей!

Театр теней. Крысолов

Послушай, Крысолов, зачем ты снова в Гамельн?
Тут крысы не живут с тех самых дней лихих,
И тут тебя не ждут, но и не бросят камень
В тебя за все твои и не твои грехи.

Изношен твой кафтан и стоптаны ботинки,
И дудочка твоя срывается на хрип;
В глазах твоих судьбы нетающие льдинки,
В кармане – медный грош, в котомке – сухари...

Что ты пришёл узнать (а может быть, поведать?) –
Покаяться ли в чём, оспорить ли вину?
Тут все уже давно отплакали по детям,
Попутно не забыв пересчитать казну.

...А дети шли с тобой, смеясь и подпевая,
И ветер раздувал огонь сиявших глаз,
И с туч живой водой стекала дождевая,
И мир рождался вновь, как будто в первый раз...

Но латаный кафтан не заменяет латы,
И дудка – не копье, хоть мельниц и полно...
А дети нынче тут с рожденья глуховаты
И песенки твоей не слышат всё равно.

Осенние регистры. Ноябрь

Уже и не осень – лишь узкая прорезь,
в которую время сквозит,
И сыплют песок на измятую простынь
бессонниц пустые часы,
Но где-то под спудом хандры и простуды,
за серым сиротским холстом
Чуть теплится свечка обещанной встречи –
когда-нибудь, после, потом...

Уже и не осень – лишь образ, лишь призрак,
лишь охристый блик на заре...
Уже улетают последние листья к холодной и близкой земле,
А парочки в парках целуются в парках, и облачки пара из губ,
Как души их, вместе парят в поднебесье
в предвестье архангельских труб.

Предзимье. Преддверие первой метели
и первой звезды Рождества...
Иосиф не сладил ещё колыбели, и в путь ещё рано волхвам,
Но слушает чутко, в предчувствии чуда,
Мария во чреве толчки,
Не зная, что где-то младенец Иуда сжимает во сне кулачки...

Трое

Сумасшедший скрипач
уж которую вечность фальшивит всё тот же мотив.
Ты хоть смейся, хоть плачь,
только мимо судьбы незаметно никак не пройти.
Ты хоть прячься, хоть прячь,
ты хоть маску на маску и кожу на кожу надень –
Сумасшедший палач
приведёт приговор в исполнение в назначенный день.
Сумасшедший трубач
уж которую вечность трубит то поход, то пожар.
Может, время и врач,
только лечит при помощи спирта, а чаще – ножа...

Но гляди: это грач,
а не ворон садится на твой проржавелый карниз!
Сумасшедший скрипач
тихо скрипку отложит и с крыши отправится вниз.
Тощий кошель удач
на небесных весах перетянет суму суеты.
Сумасшедший палач
капюшон поменяет на чёрный, уйдя в монастырь.
Сумасшедший трубач,
отхлебнув из припрятанной фляжки, сыграет отбой.

...Эти четверо кляч
вдалеке – не пугайся! – пока ещё не за тобой...

ХАМБАЛА-2012

Итоги литературного конкурса «Cambala-2012»

По мнению экспертов – В. Авцен (Германия), Н. Белинская (Израиль), В. Белявский, Ю. Гаврилова, В. Герланец, В. Загородний, О. Завязкин, С. Заготова, А. Кораблев, А. Куралех, С. Куралех, В. Лившиц, В. Рафеенко, Э. Свенцицкая, Е. Сокрута, Д. Фаншель (Германия), М. Хаткина, И. Черниченко, С. Шаталов третий литературный конкурс «Cambala» в целом оказался содержательнее двух предыдущих, хотя и уступает им по количеству заявок. Видимо, уровень фестиваля уже установлен, и предварительный отбор производится самими авторами. Правда, по-прежнему проза и детская литература слабее стихов. Еще печальнее наша критика – в этой номинации оказался всего один участник.

Лучшие в номинации «Стихи»:

- | | | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|
| 31 | <i>Грувер Анна</i> | <i>Донецк</i> |
| 30,75 | <i>Курапцев Александр</i> | <i>Старобешеве (Донецкая)</i> |
| 27,75 | <i>Коваленко Ксана</i> | <i>Николаев</i> |
| 27,5 | <i>Товберг Александр</i> | <i>Красноармейск (Донецкая)</i> |
| 27 | <i>Ревакина Анна</i> | <i>Донецк</i> |

Лучшие в номинации «Проза»:

- | | | |
|-------|--------------------------|----------------------------|
| 24,75 | <i>Бауэр Ирина</i> | <i>Донецк</i> |
| 24,5 | <i>Лукашева Анна</i> | <i>Донецк</i> |
| 22,5 | <i>Колтакова Наталья</i> | <i>Донецк</i> |
| 22 | <i>Мягкова Наталья</i> | <i>Донецк</i> |
| 19 | <i>Шевченко Ирина</i> | <i>Горловка (Донецкая)</i> |

Лучшие в номинации «Детская литература»:

- | | | |
|-------|--------------------------|--|
| 19 | <i>Краснов Владимир</i> | <i>Боровичи (Новгородская), РОССИЯ</i> |
| 18,5 | <i>Товберг Александр</i> | <i>Красноармейск (Донецкая)</i> |
| 18,25 | <i>Шевченко Ирина</i> | <i>Горловка (Донецкая)</i> |
| 15,75 | <i>Зиненко Надежда</i> | <i>Мариполь (Донецкая)</i> |
| 14 | <i>Шендрик Евгений</i> | <i>Мариполь (Донецкая)</i> |

Лучшие в номинации «Критика»:

18 Панчехина Мария Макеевка (Донецкая)

Лучшие в номинации «Поэт поэтов»:

Этот альтернативный конкурс состоялся 6 октября в таверне «Шафран». Приглашенные авторы читали свои тексты и сами же их оценивали. Кроме того, были учтены мнения гостей – известных донецких и заезжих литераторов.

17 Волосюк Иван Донецк

13 Мягова Наталья Донецк

12 Лукашева Анна Донецк

До следующей «Хамбалы» звание «Поэт поэтов» будет носить **Иван Волосюк**.

Кроме того, призы авторских симпатий получили А. Курапцев, М. Панчехина, М. Фролова, Н. Колтакова, И. Шевченко и др.

Александр Кораблёв, профессор ДНУ

Р.С. Некоторые из призёров «Хамбалы-2012», а именно: Мария Панчехина, Иван Волосюк, Ксана Коваленко, Наталья Мягова, Анна Лукашева, Александр Товберг, Евгений Шендрик ранее были представлены в «Семейке». На страницах этого выпуска – слово Анне Ревякиной (стихи), Ирине Бауэр (рассказ), Александру Товбергу (рассказы для детей) и Марии Панчехиной (эссе).

ВА



Литкафе



Здравствуйте! Вы пишете стихи или прозу? Проходите! Мы вам – виртуальную чашечку кофе, вы нам – свое реальное стихо- или прозотворение.

Здравствуйте! Вы любите стихи или прозу? Проходите! Мы вам – виртуальную чашечку кофе, реальные стихи и рассказы, вы нам – ваше доброжелательное внимание: ведь авторы, даже очень самоуверенные с виду, всегда волнуются...

Согласно Уставу, в кафе каждый раз будут приглашаться всё новые и новые авторы. Прежним остаётся только место встречи. Его, как мы помним, изменить нельзя.

Добро пожаловать!



Виктор ХАРИК Дюссельдорф

Профессиональный график, книжный дизайнер и проектировщик шрифтов. Стихи, в принципе, не люблю, за редкими исключениями, когда уж больно хороши. По той же причине, и чтоб не множить количество сущностей, и сам стараюсь их не писать, за редкими исключениями, когда по малопонятным причинам они складываются в голове сами. Записываю из любопытства...

* * *

Земля из глин,
а глина из земли,
Творец – гончар:
вращение Вселенной
им начато,
чтоб сделать совершенней
на круге времени
творение своё.

* * *

Давай придумаем снова
буквы, чтоб цвета морского
имя твое стало.
Давай придумаем снова
ноты, цветы и созвездья,
чтоб звучали
все краски,
и читались все звезды,
и пелись фиалки,
чтобы слово «любовь».
звучало радугой
от сине-зеленых
нот твоего имени

через сирень,
фиалки и розы
до солнечно-рыжего
моего.

* * *

Ну и пусть,
оббивая колени
об эти ступени,
рвусь
из тени
своего запустенья,
грусть
обманчива
и переменчива –
Женщина.

* * *

Деревья и мысли
обнажены
в самом начале весны.
Тонкие путы
извилин и веток –
смутной тревоги слепок,
в мартовской сирости
скрытый, как в чаще –
май приходящий.

* * *

Закат и солнце с облаками
Сейчас нам драму разыграют,
Древней которой в мире нет –
Никак не исчерпать веками
Веками игранный сюжет,
И каждый раз иной закат
Нам дарят солнце с облаками.

Татьяна ЦЕПКИНА
Вуипперталь

МИША
Сказка-быль.

Посвящается моему мужу Михаилу Белашову¹

Жила-была девочка Тата. Осталась она одна-одинёшенька на белом свете и превратилась в дикую рыжую пантеру, которая, как известно, гуляет сама по себе.

Как-то раз попросили её отнести в мастерскую медведей заказ для художника Михаила.

Дверь в мастерскую была открыта, Тата вошла и очутилась среди холстов, мольбертов, красок и кистей... А вот хозяев на месте не оказалось – ушли на обед. Её внимание привлекли два почти готовых портрета, на которых был изображен «кормилец» – так художники называли меж собой вождя Великой Октябрьской революции: спрос на его портреты был неиссякаем, а работа хорошо оплачиваемой. Тате портреты не понравились, она отвернулось от них и неловко задела хвостом открытую баночку с черной гуашью. И... о ужас! Баночка перевернулась, гуашь растеклась по рабочему столу и тонкой струйкой потекла на стул, а со стула на пол. Тата сначала испугалась, а потом подумала: «Семь бед – один ответ!» и обмакнула кисточку своего хвоста в разлитую гуашь...

На одном портрете она лихо закрутила кверху усы, и добрый дедушка Ленин превратился в легендарного командира Красной армии Василия Чапаева. На втором – голову вождя пролетариата она украсила копной черных курчавых волос, на переносицу водрузила пенсне, и вот уже на портрете – его друг и соратник Лев Троцкий!

¹ Работы Михаила Белашова представлены в этом номере в разделе «Волна и камень».

Довольная результатами Тата вышла на свежий воздух понежиться в лучах ласкового солнца. Присела на скамеечку и углубилась в свои мысли.

Тем временем вернулись медведи.

Младший медведь возмущенно пропищал: «Кто разлил мою гуашь? Кто испачкал мой стол и стул?!»

Средний медведь грозно зарычал: «Кто изуродовал моих вождей?!»

И только старший медведь Михаил спокойно произнёс: «А пойду-ка я посмотрю, кто там у нас на лавочке».

Вышел из мастерской: «Девушка, вы, случайно, не меня ждете?»

Тата подняла на него голубые глаза: «Если вы художник Миша, то – да...» И протянула ему заказ. Он пригласил её в мастерскую, Тата повинулась перед медведями, была прощена, и вскоре все четверо пили вкусный чай с ароматным мёдом. Михаилу ужасно не хотелось расставаться со своей новой знакомой, и он пошел провожать ее до ближайшей остановки метро, не подозревая, что это начало их общего пути длиной в жизнь и весна их совместной жизни.

На следующее утро, придя на работу, Тата увидела на столе выполненный заказ, а рядом – букет великолепных красных роз и литровую банку со свежим базарным молоком. Красное и белое, любовь и чистота... Так Миша вошел светлой радостью в ее жизнь. Через два года у них появился маленький Михалыч. Когда он чуть-чуть подрос, то узнал от мамы, что его папа Миша прибыл на эту Землю с далёкой звезды из созвездия Большая Медведица, чтобы сделать наш мир красивее и добрее. Михалыч смотрел на филигранные статуэтки папиной работы, на его скульптуры и ничуть в этом не сомневался...

Жили они долго и счастливо, всё шло своим чередом, лето следовало за весной, осень сменяла лето. Но всему приходит конец. Пришел конец и миссии Михаила на Земле. Настала пора возвращаться на свою звезду, а это ох как нелегко... Он сильно из-за этого страдал. Тата понимала, что их любовь

больше не в силах удержать предстоящую разлуку. Однажды Миша подозвал Тату с Михалычем и сказал: «Я очень вас люблю и горжусь вами», вздохнул и незаметно ушёл. Было очень тихо, и только Небо плакало за окном. Ночью выпал снег, и утром весь город был укутан пушистым белоснежным покрывалом. Наступила зима.

С тех пор прошло немало лет. Тата, как только выпадает свободное время, спешит с цветами к Мише. Особенно подолгу стоит она у могилы зимой: красные розы на белом снегу (любовь и чистота) оживляют в её воображении дорогие сердцу картины прошлого. Подруги говорят, что это мешает ей жить настоящим, но они не знают, что с настоящим у неё всё хорошо. Ночами, если нет облаков, Тата находит на небе созвездие Большой Медведицы, на которую они с Мишей так любили смотреть. Рассказывает ей про себя и Михалыча, про их радости и печали и вообще про жизнь. И звёзды понимающе мерцают в ответ...



Сергей ЖОМУТОВ

Рыбинск

Татьяне Ивлевой

Так страшно, жестоко нас век разделил и развеял
По чуждым просторам, по разным холодным углам;
Кто эту беду на исходе столетья посеял,
Как с нею прожить в новом веке, – неведомо нам.

В европах, америках, азиях разноплеменных,
Что с чуткой душою поделать, известно лишь вам, –
Кто сделал свой выбор – остаться в числе отделённых
И неразделённых с былым – по судьбе и словам.

Но вот навалилась осенняя русская слякоть,
И думы блуждают в больной обступающей мгле:
Кому тяжелее по родине стонущей плакать;
Где – там, на чужбине, иль здесь – на родимой земле?..

Значенье слова невозможно
Сполна и точно оценить –
Насколько свято иль безбожно
Плетёт строку –

живую нить?

Она слаба, она воздушна, –
В ней пауз и пробелов – треть,
Но тайне,

таинству послушна,

Способна плакать и гореть.

И наказание, и награда,
Тропинка вдаль, калитка в сад...
Лишь только буковку
 от ЛАДА
Ты отыми, – и станет АД.

* * *

Не дай мне Бог сойти с ума...
А. С. Пушкин

Мой срок на пределе, а что я доподлинно стоил,
Пусть судят присяжные –

 меру добра или зла,
И всё же я маленький домик уютный построил
Для женщины той, что детей для меня родила.
А дерево?..

Их – самых разных, и даже плодовых,
Посажено много, наверно, и не сосчитать,
Иные уже порубили безумцы – из новых
Властителей мира, готовых его растоптать.
Ещё сверх заданья,

 которое Богом даётся,
И строки, пришедшие сеять любовь на земле,
Да только вот сердце всё громче,
 надрывнее бьётся,

Когда я ступаю навстречу неведомой мгле.
Сказал же поэт,

 что блажен, кто был смолоду молод,
Но к сроку созрел... Только это доступно ли нам, –
Когда по земле растекается медленный холод,
И времени вызреть никак не хватает плодам?
А высосав недра,

 мы ось надломили земную,
Не чуя того, как вседневно летим под уклон.

Я выстроил дом,
но планету построить иную
Не мог предписать даже самый мудрёный закон.
Другими испытаны были бесщётно поверья,
Да что мы узнаем от них? Затерялся их след.
Зачем сумасшедшим потомки, дома и деревья?
«Не дай мне...», –
молил и об этом печальный поэт.



Александр Богомазов. Боярка. Дача. 1914

Угорь ПИКОВСКИЙ
Дюссельдорф

ОДНОСТИШИЯ

Вам этот серп попал не по наследству?
А пионерам всё по барабану.
Будет вам свобода – дайте только срок!
В порыве гнева – овладел собою...
В итоге нет ни времени, ни денег...
В последний раз вы были помоложе...
Греть руки на продаже льда.
Вы хоть при детях не картавьте...
Евреи клином тянутся на юг...
«Звезда Давида» – тяжкий крест еврея!
Как вы вообще могли вступить в такое?
Как член правительства стою на перепутье...
Какой орёл! А с виду просто решка!
Кому б ещё оскомину набить?
Нас разделяет обоюдное согласие.
Никто не знает – в ком прошли татары...
Одной слюной колодца не наполнить.
О, как запало в душу ваше тело!
Носки не имидж – надо бы сменить.
Расшатаны седалищные нервы...

ОЧЕПЯТКИ

Куда несёт нас рок соитий?
Коленка редактора.
Побойтесь Дога!
Мания двулчия.
Шахтёры в запое...
Агент ноль-ноль всем.
Бедовый месяц.
Опечатки пальцев.
Правила хорошего тока.
Сальный номер.
Квадратура друга.
Сбор мускулатуры.
По рогоскопу «Козерог».
Своевременно оплакивайте свой проезд!

ФРАЗЫ

Входя в помещение – сними свой нимб!
Начальство не опаздывает! Это спешат его подчинённые!
Обжёгся на молоке и дул водку.
Чем только деньги не пахнут!
Ruhr Gebiet твою мать!

Зал переводчика



Марина ПЕРШЕНОВИЧ
Дюссельдорф

Родилась в Новосибирске, живет в Дюссельдорфе с 1998 года, издано три книги стихов и одна книга переводов с немецкого (Маша Калеко), автор проекта «Книга на четверых» (2005 год), соавтор переводного издания исторического романа Эрики Фишер «Эме и Ягуар» (2006 год). Публиковалась в различных изданиях России, Латвии, Германии, Белоруссии, Украины, Англии, Америки, Канады. С 2007 года почетный гость Александрийской Библиотеки. С 2010 является членом Содружества русскоязычных литераторов Германии.

W.A. Mozart

Kleiner Rat

Du wirst im Ehstand viel erfahren,
was dir ein halbes Rätsel war;
bald wirst du aus Erfahrung wissen,
wie Eva einst hat handeln müssen,
dass sie hernach den Kain gebar.
Doch, Schwester, diese Ehstandspflichten
wirst du von Herzen gern verrichten,
denn glaube mir, sie sind nicht schwer.
Doch jede Sache hat zwo Seiten:
der Ehstand bringt zwar viele Freuden,
allein auch Kummer bringet er.

Drum, wenn dein Mann dir finstre Mienen,
die du nicht glaubest zu verdienen,
in seiner übeln Laune macht,
so denke, das ist Männergrille,
und sag: Herr, es gescheh dein Wille
bei Tag, und meiner in der Nacht.

Маленький совет (Из писем к сестре)

Ко множеству загадок в браке
ты сможешь ключик находить.
Используй новый опыт смело;
как Ева некогда сумела,
чтоб после Каина родить.
И это дело небольшое
исполнишь ты со всей душою,
сестра, в нем радостей не счесть!
Явят обязанности эти
две стороны – как на монете,
поверь, заботы в браке есть.
И если муж твой мрачен будет,
тебя, безвинную, осудит,
и застит свет твоим очам,
скажи: капризны все мужчины,
ты – господин, тебе по чину
днём править бал, мне – по ночам.

Hermann Hesse

Soiree

Man hatte mich eingeladen,
Ich wusste nicht warum;
Viel Herren mit schmalen Waden
Standen im Saal herum.
Es waren Herren mit Namen
Und von gewaltigem Ruf,
Von denen der eine Dramen,
Der andere Romane schuf.
Sie wussten sich flott zu betragen
Und machten ein groß Geschrei.
Da schämte ich mich zu sagen,
Daß ich auch ein Dichter sei.

Званный вечер

Меня пригласили сами.
Зачем, я и сам не знал;
Изящными господами
заполнен был круглый зал.
С известными именами
почтенные господа.
И кто-то силен был в драме,
а кто-то в романах, да.
Столь шумная обстановка
сложилась, что спору нет,
мне было сказать неловко
о том, что я сам – поэт.

Shel Silverstein

Smart

My father gave me one dollar bill
'Cause I'm the smartest son,
And I swapped it for two shiny quarters
'Cause two is more than one!
And then I took the quarters
And traded them to Lou
For three dimes – I guess he don't know
That three is more than two!
Just then, along came old blind Bates
And just 'cause he can't see
He gave me four nickels for my three dimes,
And four is more than three!
And I took the nickels to Hiram Coombs
Down at the seed-feed store,
And the fool gave me five pennies for them,
And five is more than four!
And then I went and showed my dad,
And he got red in the cheeks
And closed his eyes and shook his head –
Too proud of me to speak!

Умник

В семье я самый умный сын.
Отец мне рублик дал,
на два двугривенных его
я тут же обменял.
Два – это больше одного.
А Лу мне дал за них – ого! –
три целых гривенника. (Он
считать умеет лишь ворон.)

А у слепого старика
 (и в этом был подвох!)
 я взял четыре пятака –
 четыре больше трех.
 Я пятаки отнес туда,
 где торг ведет бушмен.
 У дурня в лавке без труда
 пять грошей взял взамен.
 Когда я их принес отцу,
 он дёрнул головой,
 и краска прилила к лицу –
 видать, гордится мной!

Description

George said: «God is short and fat».
 Nick said: «No, He's tall and lean».
 Len said: «With a long white beard».
 «No, – said John. – He's shaven clean».
 Will said: «He's black», Bob said: «He's white».
 Rhonda Rose said: «He's a She».
 I smiled but never showed 'em all
 The autographed photograph God sent to me.

Описание

Джордж говорит: «Бог приземист и толст».
 Ник говорит: «Нет, он худ и высок».
 Лен говорит: «Бородат и непрост».
 Джон, что у Бога обритый висок.
 Билл, что Он чёрен, а Боб, что Он бел.
 Ронда сказала: «Он женщиной был».
 Я, улыбаясь, на снимок глядел,
 тот, что на память мне Бог подарил.

Redyard Kipling**The Power of the Dog**

There is sorrow enough in the natural way
From men and women to fill our day;
And when we are certain of sorrow in store,
Why do we always arrange for more?
*Brothers and Sisters, I bid you beware
Of giving your heart to a dog to tear.*

Buy a pup and your money will buy
Love unflinching that cannot lie –
Perfect passion and worship fed
By a kick in the ribs or a pat on the head.
*Nevertheless it is hardly fair
To risk your heart for a dog to tear.*

When the fourteen years which Nature permits
Are closing in asthma, or tumour, or fits,
And the vet's unspoken prescription runs
To lethal chambers or loaded guns,
*Then you will find – it's your own affair –
But... you've given your heart to a dog to tear.*

When the body that lived at your single will,
With its whimper of welcome, is stilled (how still!)
When the spirit hat answered your every mood
Is gone – wherever it goes – for good,
*You will discover how much you care,
And will give your heart to a dog to tear.*

We've sorrow enough in the natural way,
When it comes to burying Christian clay.
Our loves are not given, but only lent,
At compound interest of cent per cent.

*Though it is not always the case, I believe,
That the longer we've kept'em, the more do we grieve;*

For, when debts are payable, right or wrong,
A short-time loan is as bad as a long –
*So why in – Heaven (before we are there)
Should we give our hearts to a dog to tear?*

Власть собаки

Нам хватает несчастий на нашем пути
от жен и мужей, с кем по жизни идти,
мы знаем, нас горе настигнет и так...
Я прошу: сторонитесь собак.
*Зачем увеличивать скорби свои?
Держитесь подальше от этой любви.*

Братья и сестры, купите щенка –
и вложите деньги в любовь на века.
Она будет щедрой, а ласка и кнут,
питая покорность, сердца отомкнут.
*Но стоит ли риска сия благодать,
чтоб сердце свое на расправу отдать.*

И минут четырнадцать лет, что даны
природой, и будут болезни видны.
Вы столкнетесь с негласным судом ветврача,
и поймете – от яда ли, от пугача –
собаке от рук ваших выпало пасть...
И сердце свое вы ей бросите в пасть.

А когда это тело, что нянчили вы,
станет тише воды и покорней травы,

этот дух, что на каждый ваш зов отвечал,
вдруг уйдет, – вы поймете, что он означал.
Куда-то уйдет, не воротится вспять.
Но собаке успели вы сердце отдать.

Мы достаточно горя хлебом на пути,
предавая земле тех, с кем рядом идти.
Нам дается не даром любовь, а взаимы,
и проценты платить соглашаемся мы.
Чем дольше владеем, тем выше процент.
Так приносит страдания нам каждый цент.

И придется платить, долг велик или нет,
только смерть дает справедливый ответ.
Боже правый, зачем – до прихода ее –
вы собаке бросаете сердце своё?



Виктор Харик. Из цикла «Лица зверей»

Татьяна ЦВЛЕВА

Эссен

Родилась и училась в Казахстане, окончила филфак Одесского государственного университета. Работала в театре, на радио и телевидении.

Первые публикации стихов в областной газете «Южный Казахстан» и в литературно-художественном журнале Казахстана «Простор». Печаталась в журналах, сборниках и поэтических альманахах: «Век XXI», «Edita», «Литературный Европеец», «Мосты», «Муза Лорелея», «Одюлев», «Семейка», «Крещатик», «Поэты русского зарубежья», «Новый Журнал», международный альманах «Поэзия» и др.

Сборники стихов: «Берег дальний» (Франкфурт, 2003); «Канджи» (Донецк, 2010); «Талисман» (Франкфурт, 2011); «Залётный ангел» (Гельзенкирхен, 2013).

Член Союза русских писателей в Германии, лауреат нескольких литературных премий.

В Германии с 1987 года.

Else Lasker-Schüler

Mutter

Ein weisser Stern singt ein Totenlied
In der Julinacht,
Wie Sterbegeläut in der Julinacht.
Und auf dem Dach die Wolkenhand,
Die streifende, feuchte Schattenhand
Sucht nach meiner Mutter.
Ich fühle mein nacktes Leben,
Es stösst sich ab vom Mutterland,
So nackt war nie mein Leben,
So in die Zeit gegeben,
Als ob ich abgeblüht
Hinter des Tages Ende,

Versunken
Zwischen weiten Nächten stände,
Von Einsamkeiten gefangen.
Ach Gott! Mein wildes Kindesweh!
... Meine Mutter ist heimgegangen.

Маме

Одиноко поёт песню смерти седая звезда
В июльской ночи.
Будто колокол погребальный в июльской ночи звучит.
На ладони облака скользящие влажные руки теней
Ищут маму мою – тянутся к ней.
И я чувствую, как моя обнажённая жизнь
Отдаляется от материнского берега.
Не представляла, не верила –
Такой обнажённой не была моя жизнь никогда,
Такой растворённой во времени,
Как будто я отцвела за оградой ушедших дней.
Утонула
В безмерности ночи,
В плену одиночества.
Ах, Боже! Безумно тоскую по детству!
Куда же теперь мне деться?
Где потерянный берег мой?
... Моя мама вернулась домой.

Als ich Tristan kennen lernte

O,
Du mein Engel,
Wir schweben nur noch
In holden Wolken.

Ich weiß nicht, ob ich lebe
Oder süß gestorben bin
In deinem Herzen.

Immer feiern wir Himmelfahrt
Und viel, viel Schimmer.
Goldene Heiligenbilder
Sind deine Augen.

Sage – wie ich bin?
Überall wollen
Blumen aus mir.

Встреча с Тристаном

О,
Ты мой ангел!
Мы высоко парим
В прозрачных облаках.

Не ведаю: жива ли я
Иль сладко умерла
У сердца твоего?

О праздник Вознесенья
В мерцании безмерном!

Как золото икон священных –
Твои глаза.

Скажи, кто я тебе?
Роняю лепестки цветов повсюду.

An Tristan

Ich kann nicht schlafen mehr,
Immer schüttelst du Gold über mich.

Und eine Glocke ist mein Ohr,
Wem vertraust du dich?

So hell wie du,
Blühen die Sträucher im Himmel.

Engel pflücken sich dein Lächeln
Und schenken es den Kindern.

Die spielen Sonne damit
Ja...

Тристану

Мне не до сна,
Когда ты осыпашь золотом меня.

Мой слух огромен, словно колокол:
Кому ты внемлешь?

Букеты звёзд небесных
Светлы, как ты.
Срывают ангелы твою улыбку
И дарят детям,
Чтоб они играли с солнцем.
Да...

An den Gralprinzen

Wenn wir uns ansehen,
Blühn unsere Augen.

Und wie wir staunen
Vor unseren Wundern – nicht?
Und alles wird so süß.

Von Sternen sind wir eingerahmt
Und flüchten aus der Welt.

Ich glaube wir sind Engel.

Рыцарю Священного Грааля

Горящим взглядом
Смотрим друг на друга,
Когда встречаются глаза.

О что за чудо! Неужто правда?
Весь мир в гармонии с тобой.

И в окруженье звёзд
Из мира улетаем.

Мне верится –
Мы ангелы.

Ein Liebeslied

Aus goldenem Odem
Erschufen uns Himmel.
О, wie wir uns lieben...

Vögel werden Knospen an den Ästen,
Und Rosen flattern auf.

Immer suche ich nach deinen Lippen
Hinter tausend Küssen.

Eine Nacht aus Gold,
Sterne aus Nacht...
Niemand sieht uns.

Kommt das Licht mit dem Grün,
Schlummern wir;
Nur unsere Schultern spielen noch wie Falter.

Песнь любви

Из золотых дуновений
Создало нас небо.
О как мы любим друг друга...

Бутоны на ветках птицами стали,
И розы вспорхнули.

В тысяче поцелуев
Ищу лишь твои губы.

Ночь – из золота,
Звёзды – из ночи...
Никто нас не видит.

Свет забрезжит сквозь зелень,
Дремлем мы;
Только плечи наши ещё трепещут, как мотыльки.

Strophe

Neugierige sammeln sich am Strand und messen
Sich am Meer und mir der Dichterin vermessen.
Doch ihre Redensart löscht aus der Sand.
Ich hab die Welt vor Welt vergessen,
Getränkt von edlen Meeresnässen.
Als läge ich in Gottes weiter Hand.

Строфа

Толпа скучающих зевак на пляже
Стремится потягаться силой с морем
И ранит криком мой чуткий слух.
Бездарна речь её,
как след в песке, волной размытый.
А я, наполненная благом влаги морской,
Забуду обо всём на свете,
В ладони Божьей обретя покой.

Abschied

Ich wollte dir immerzu
Viele Liebesworte sagen,

Nun sudist du ruhlos
Nach verlorenen Wundern.

Aber wenn meine Spieluhren spielen
Feiern wir Hochzeit.

O, deine süßen Augen
Sind meine Lieblingsblumen.

Und dein Herz ist mein Himmelreich...
Laß mich hineinschaun.

Du bist ganz aus glitzernder Minze
Und so weich versonnen.

Ich wollte dir immerzu
Viele Liebesworte sagen,

Warum tat ich das nicht?

Прощание

Я всегда хотела тебе
Много слов о любви сказать,

Ты ещё не устал искать
Чудо, что затерялось.

Мой пробыёт долгожданный час,
Мы отпразднуем нашу свадьбу.

О, родные глаза твои –
Всех на свете цветов любимей!

Твоё сердце – небесный рай,
Дай же мне заглянуть в него!

Образ твой из мерцания трав,
Ты так тих и задумчив.

Я всегда хотела тебе
Много слов о любви сказать...

Почему я не сделала это?

ЦЕРИХОНСКИЙ ЛАБИРИНТ,

сквозь который пришлось пройти создателям антологии еврейских и немецких авторов, чтобы издать эту книгу («Die Briefe, meine, lasest Du im Schlaf».

Universitätsverlag Brockmeyer, Bochum, 2012. Составители Хайде Рик и Фридрих Гротьян от имени «Bochumer Literaten»)

Я пришла к Хайде Рик и Фридриху Гротьяну и спросила, какими путями шли они, немцы, к идее создания этой книги? Какие лабиринты судьбы привели к тому, что тема войны и Холокоста стала для них главной? Ответ длиною в жизнь...

Лабиринт 1. Острова памяти

Еврейскую девочку два страшных и долгих года – с 1943 по 1945 – прячет в подвале своего дома немецкая женщина. У женщины есть свои маленькие дети, а слева и справа живут ее соседи. И она не может не знать, какая кара постигает в Третьем рейхе каждого, кто укроет еврея. Но еврейская девочка покинет этот дом только с концом войны. Это было в семье Фридриха.

«Кто спасет одну жизнь, тот спасет мир». Слова из Талмуда выбиты при входе в Аллею Праведников в Иерусалиме.

Медсестра санитарного поезда Ханна прячет в своем доме чужого ей человека, старика-еврея из Кёльна. «Чужого! Да еще и из Кёльна! Тебя ждет тюрьма», – шепчет ей родня, укоряя за безрассудство. Но Ханна доводов не слышит, а через год, рискуя жизнью, переправляет старика под носом у СС в безопасную Швейцарию. «Ein J im Ausweis» – называется этот рассказ Фридриха.

Щецин, 1945. Четырехлетняя немецкая девочка видит двор своего детства. Солдаты чужой армии, армии победите-

лей, входят во двор родного дома. Ее юная мать с четырьмя маленькими детьми на руках, а вокруг солдаты чужой армии. Бесчинство. Насилие. Жестокость. Конец войны.

Острова памяти. Они всплывают в темном озере Времени и не дают душе покоя.

«Кто спасет одну жизнь, тот спасет мир». Неевреи, спасавшие евреев. Праведники. А евреи, спасшие неевреев? Тоже праведники.

Курт был евреем. Мамин партнер по сцене (мама Хайде была актрисой), едва вернувшись в Германию, в Крефельд, в 45-м, пришел к её бабушке: «Где она? где ее дети?». «Они в русской зоне. В Щецине». В паспорте Курта – буква J, опасная, страшная буква J. Но Курт устремляется на восток и вывозит юную мать с четырьмя детьми на запад, в Крефельд. Маленькая Хайде радуется: «Как с папой!».

Островами памяти всплывают воспоминания. Чужие входят в город. Жителей сгоняют на площадь. Выстрелы, грозные окрики. Женщин выхватывают из толпы и уводят к солдатам. Дети плачут. Маму защищает русский офицер.

Еще вспышка света, и снова выступают из темноты родные лица.

Двоюродный дед Отто. Вот он рядом. Там, в детстве, он был всегда рядом. Потом он исчез. Много позже Хайде узнала – дед отправлен в Сибирь. Жена его умерла от голода.

Сестра Хайде заболела спустя несколько лет после войны. Детские воспоминания преследовали её: горящий город, повешенные, бегство, – психика не выдержала, сломалась. Так спустя годы сестру догнала война.

С тех пор прошла целая жизнь. Сменились эпоха и век. Фридрих Гротьян (Friedrich Grotjahn) стал евангелическим священником, теологом, а потом писателем, публицистом. Хайде Рик (Heide Rieck) могла и хотела стать актрисой. Но блеску сцены предпочла труд учительницы и тридцать пять лет отдала школе. И вместе с другими Хайде сделала тогда революцию в педагогике. Создавала новые методики. Чтобы

учить новое поколение немцев ненавидеть нацизм, но прощать отцов. Чтобы строить другую Германию. Чтобы следующие за ними не наступали на те же самые грабли. Ведь история имеет обыкновение повторяться.

Лабиринт 2. Раньше в Бохуме...

Раньше в Бохуме жило много евреев. Среди них были выдающиеся люди и простые горожане. Имена многих и многих до сих пор вспоминают с благодарностью. История евреев в Бохуме – неотъемлемая и многовековая часть истории города. Эта история обрывается в 1933 году.

Лео Бэр умер в эмиграции – в Торонто. Но свои воспоминания он написал на немецком языке, языки стран изгнания – французский и английский – остались для него чужими. С начала XIX века жили в Бохуме адвокаты, врачи, учителя по фамилии Бэр. Жили до прихода к власти нацистов. Потом были ужасы изоляции, преследования, изгнания, бегство сначала во Францию, потом в Канаду. В Вестфалию Лео не вернулся, но перед смертью он, бохумский литератор еврейского происхождения, прислал свои воспоминания в Центр истории города, он хотел, чтобы они остались в Архиве города его детства.

Элизабет Петуховски, в девичестве Майер, родилась в Бохуме. В Англии, куда ее семья бежала от NS, она познакомилась с другим беженцем-евреем из Берлина Якобом Петуховски. Он стал впоследствии раввином, профессором иудаистики. Они поженились и переехали в США. Лингвист и специалист по немецкому языку, профессор университета в Цинциннати, Элизабет написала много книг, в их числе и такую «Раввин редко приходит один. Из сокровищницы еврейского юмора». В одной из своих книг, присланных ею в городской архив, она рассказывает о своем вестфальском детстве, о событиях 1933 года, об уродливом перерождении общества с приходом

к власти NS. Пережив это еще подростком в Бохуме, навсегда вырвала она родину из своего сердца и поклялась никогда не приезжать сюда.

Так прервалась в Вестфалии еврейская жизнь. От одних остались только медные дощечки на городских мостовых с выбитыми на них именами. Именами погибших, сожженных, убитых, пропавших без вести. Другие, те, кто уцелел, кто бежал, не хотели вернуться в это страшное для них место.

Но еврейская жизнь и культура должны возродиться здесь. Вестфальскими евреями становятся ныне те, кто переселяется сюда из наших стран с начала 90-х. Вот почему год назад «Bochumer Literaten» вместе с Центром истории города организовали и провели – заметьте, впервые в этих местах! – Дни еврейской культуры в Вестфалии.

Лабиринт 3. «Кто однажды приблизится к Холокосту, тот не уйдет от этой темы никогда»

Так говорит Хайде Рик.

1995 год. Бохум объявляет о создании объединения «Воспоминания для будущего» и приглашает к диалогу тех, кто покинул город во времена NS. Разыскать всех, вспомнить каждого поименно! Такую задачу ставит перед собой город. И Хайде жертвует деньги в фонд, но тогда еще не может заставить себя пойти на эту встречу. Ей страшно. Сколько человеческих трагедий умещается в одном слове – Холокост!

Вскоре она инициирует создание на главном кладбище Бохума Мемориала советским военнопленным и принудительно работавшим, погибшим здесь на заводах и шахтах в 1943–1945. Вносит деньги в фонд Stolpersteine – «каменей преткновения», медных табличек, встроженных в мостовые перед домами тех, кто был убит в лагерях, отправлен в гетто, стал жертвами на-

цизма. На табличках имена, даты рождения, места смерти: Аушвиц, Дахау, Треблинка, Собибор... Stolpersteine как бы молча кричат прохожему: остановись, прочти, помни всегда!

«Кто однажды приблизится к Холокосту, тот не уйдет от этой темы никогда». Так говорит Хайде и начинает новый проект. Возникает идея Дней еврейской культуры в Вестфалии.

Лабиринт 4. Как строили мост

«Дни еврейской культуры в Вестфалии-2011» прошли с ошеломляющим успехом. Радостными и немного ошарашенными выглядели еврейские писатели Бохума-Херне-Хаттингена, как с островов, извлеченные из замкнутого мира своих клубов и кружков доброй волей Хайде и Фридриха. Всех их, пишущих стихи и рассказы по-русски, нужно было еще суметь найти, собрать, прочитать, отобрать и перевести, чтобы начать строить этот мост – мост между немецкой и русскоязычной литературой.

Я помню, как поразили меня тогда на этом вечере изысканная лирика Исидора Коганса, врача из Риги, полная сарказма и мягкой насмешки над «русскоязычными» в Германии «Голгофа: альпийская поэма» Евгения Кагана, ученого из Киева, стихи о вечной изгнаннице – душе своего народа Аси Роках, бывшего инженера из Петербурга, «Дедушка» Моисея Бороды, композитора и писателя из Тбилиси, маленькая пронзительная зарисовка Райсы Пасичник о ее еврейской бабушке «Запоздалое признание»... И не забуду, как черноволосая красавица Элина Красс бросала в зал свое «Never again!»:

Эти слова в сердце звучали.

Они хотели, чтоб мы замолчали,

Навсегда замолчали.

Чтоб был решен еврейский вопрос окончательно,

Они продумали все детали очень тщательно...

*...Стереть! Растоптать!
Пепелище от евреев должно остаться.
Жить только ариям!
Пусть на планете звучит смерти ария.
Ни одному ребенку еврея не стать взрослым!
Пусть одного за другим смерть косит!..*

Зал безмолвствовал. Хайде плакала. И в этот вечер начал строиться мост.

Книга-билингва, которую Хайде Рик и Фридрих Гротьян от имени всех членов «Bochumer Literaten» решили издать по следам Дней еврейской культуры, названа строчкой молодой поэтессы из Украины Анны Ницца – «Письма мои читал ты во сне» («Die Briefe, meine, lasest Du im Schlaf»).

44 первоклассных текста под одной обложкой, лирических, трагических, веселых и трогательных. Читаешь – и радуешься от неожиданной встречи с настоящим искусством. Два языка – как два берега одной реки по имени Литература. На немецком берегу рассказы и стихи Андре Грайнлиха, Райнера Кюстера, Альмы Люк, Софи Райх, Антона Шлюссера, Михаэля Штарке, Моники Вальтер, и «Шаббат у Биркенбаумов» о сегодняшнем Израиле Ани Лидтке, участницы всегерманской акции «Знак искупления», которая, как и Хайде Рик, работала в 60-е годы волонтером в киббуце, и такая теплая «Белка» Петэра Мэркерта, и мощная «Буква J в паспорте» Фридриха Гротьяна, и высокая гражданская лирика самой Хайде Рик.

На обложке книги изображен Иерихонский лабиринт из Библии талмудиста XVI века Аврахама Крескас.

И скажите, разве не напоминает лабиринт дорога к этой книге? А сколько пришлось плутать в лабиринтах проблем с переводом?

Двигаясь сквозь сложный лабиринт чужого текста, строили мост между двумя языковыми и культурными мирами прекрасная Галина Якименко, учитель, музыкант из Украины, и

мудрый Вольфхарт Маттэус (Wolfhart Matthäus), доктор, бывший профессор Рур-Университета. Авторы русских текстов Е. Комарова и М. Борода тоже предложили свою помощь в переводе.

Историческим документом региональной литературы назвала антологию доктор Ингрид Вёльк (Ingrid Wölk), директор Центра истории Бохума. Я назову её книга-событие.

Книга-событие начинает жить. Ею уже заинтересовались в Праге, Тель-Авиве и Москве. На книжных прилавках Вестфалии она ждет своих читателей. Заказать её можно и в издательстве по адресу: www.brockmeyer-verlag.de

Наталья Ухова

Из книги
«Die Briefe, meine, lasest Du im Schlaf»
(«Письма мои читал ты во сне»)

Heide RIECK

Variation ginkgo biloba¹

dieses ortes mal dass vor Zeiten
meinem herzen eingebrannt
lässt mich nächte tage streiten
bis der sinn der ginkgo neu erkannt

*ist es ein lebendig wesen
dass sich in sich selbst getrennt
sind es zwei die sich erlesen
dass man sie als eines kennt*

¹ Die zweite Strophe stammt aus dem Gedicht «Ginkgo biloba» von Johann Wolfgang von Goethe.

weitmar neben buchenwald
mir in eins als erbe übergeben
kunst und unfassbar gewalt
doppelt mal für all mein leben

über der rue des rosiers

vermodert
mein himmel

in der rue des rosiers
fallen
blutrosen
in meinen schoß

die rue des rosiers
trage
ich
in
mir

ans ende der zeit

Хайде ДИК

Вариация ginkgo biloba¹

это место знак свой выжгло
в моём сердце как печать
день и ночь пытаюсь смыслы
в гинкго новые понять

¹ Вторая строфа в оригинале взята из стиха Иоганна Вольфганга фон Гёте «Ginkgo biloba». (Перевод В. Рудина).

*«На две части ли живое
Разделилось существо?
Или нам являют двое
Единенья естество?»*

веймар с бухенвальдом вместе
свет небес и бездны мрак
двуединое наследство
гинкго лист на сердце знак

Перевод Евгении Комаровой

над рю де розьёр¹

истлевает
моё небо

на рю де розьер
на улице роз
как с неба
сваливаются
кровавые розы
мне на колени

рю де розьер
улицу роз
несу
я
в
себе
до скончания времён

Перевод Евгения Кагана

¹ Рю де Розьер (Rue des Rosiers): Улица Роз в еврейском квартале Марэ в Париже.

Michael STARCKE

die briefe meine II

die briefe meine
vertraue ich dir an,
meine liebe, meine lust,
als lägen wir versteckt
im gras unter dem blauen
schirm des himmels.

die briefe meine
vertraue ich dir an,
alles, was ich flüstern,
alles, was ich sagen will,
das weiße zwischen
wörtern und sätzen.

die briefe meine,
ein kurzer plan,
der lange hält,
eine gepresste mohnblüte
als symbol meiner gefühle.

im bleichenden rot
ihrer zartheit
verzaubert sie
die niedertracht des glücks
zu zeitlos schönem erinnern.

die briefe meine III

die briefe meine
bleiben sich treu,
bannen die zeit
auf papier,
das wie mein körper altert.

die briefe meine vertrauen
der tiefe und schönheit
der wörter,
besonders der
von liebe und tod,
zukunft und vergangenheit.

sie steigern mein verlangen
nach der bläue des himmels,
nach dem geschmack von erde,
nach der aussieht,
von unten nach oben
zu schauen in einen baum.

sie wecken mein sinne
für küsse und farben
und schärfen meine vorstellungskraft
für die, denen ich unverdrossen
immer wieder schreibe.

Михаэль УТАРКЕ

письма мои II

письма мои
я доверяю тебе,
моё желание, мою любовь,
будто лежим мы,
спрятавшись в траве,
под неба щитом голубым.

письма мои
я доверяю тебе,
все, что шепотом,
все, что хочу сказать,
белизну между
словами и строками.

письма мои –
краткое начинание,
долго живущее,
как засушенный цветок мака –
символ моих чувств.

блекло-красный цвет
его нежности
очаровывает
подлость счастья
в памяти вечность миг.

письма мои III

письма мои
остаются верными себе,
на бумагу,
с моим телом стареющую,
время прогоняя.

письма мои верят
в глубину и красоту
слов,
особенно в словах
смерти и любви,
прошлого и будущего.

моя жажда с ними растет
по голубизне неба,
по вкусу земли,
чтобы на дерево посмотреть,
снизу вверх
взглядом.

мои чувства пробуждают они
для поцелуев и окрасок,
моего воображения остроту
для тех, кому я пишу,
снова и снова истоиво.

Перевод Анны Ницца

Alma E. LÜCK

Löwengrube

Die Löwen haben mir nichts getan
sie haben mir das Haar nicht gekrümmt
die Haut nicht zerfetzt
die Knochen nicht geknackt
das Herz nicht zerfleischt
diesmal.

Einer setzte zum Sprung an
da rief ich
fast hätt' ich geschrien
halt
ihr wollt doch gezähmt werden
da ließen sie ab.

Was man Löwen verspricht
muss man nicht halten.

Du mit der Leine

Auch wenn die Löwen Löcher im Fell haben
da wo die Augen sitzen
es ist doch Vorsicht geboten
wenn du sie an die Leine nimmst.
Lang muss sie sein, sehr lang
denn Achtung ist ihre Sache nicht.
Sie setzen ganz auf die Kunst ihrer Zähne
die sich frei tummeln dürfen in jeglichem Revier.

Dann aber wieder geht ihnen nichts über ihr Eigentum
das du werden sollst
du mit der Leine.

Manchmal muss man sich ein Pferd halten

Manchmal muss man sich ein Pferd halten
wenn man es lassen will, Löwen zu zähmen.
Natürlich haben die Löwen ein Auge darauf
voller Argwohn sehen sie jeden Schritt
du auf dem Pferd
das bringt sie in Gang.
Sie brüllen, in die hinterste Ecke
die hinterste Ecke wär'n sie gestellt.
Am liebsten würden sie einfallen in das Gehege
jeden Zaunpfahl herausreißen
den du gesetzt hast
zum Schutz für das Pferd
damit du wieder ganz ihnen gehörst
und ihrer Missachtung.



Виктор Харик. Из цикла «Знаки Зодиака»

Альма Э. ЛЮК

Львиная яма

Львы ничего мне не сделали
они меня не тронули
мою кожу не разорвали
кости мои не разгрызли
сердце не растерзали
на этот раз.

Один собирался прыгнуть
но я воскликнула
чуть ли не закричала
ни с места
вы же сами хотели чтобы вас приручили
и они остановились

То что львам обещаешь
не обязательно исполнять.

Ты с поводком

Даже если у львов есть дыры в шкуре
там где глаза
все же будь осторожен
беря их на поводок
Он должен быть длинным, очень длинным
ведь львы ни с кем не считаются
Они полагаются только на крепость своих зубов
и позволяют им резвиться где угодно

Но уж то что принадлежит им
они ценят превыше всего
в том числе и тебя
тебя с поводком

Иногда приходится заводить себе лошадь

Иногда приходится заводить себе лошадь
если хочешь прекратить попытки приручать львов.
Конечно, львы зорко наблюдают за тобой
с подозрением следят они за каждым твоим шагом
ты на лошади
это выводит их из себя.
Они рычат, в самый дальний угол
в самый дальний угол ты их загнал.
О, с какой радостью они навалились бы на ограду
вырывая каждую жердь
которую ты поставил
для защиты лошади
чтобы снова безраздельно принадлежал им
и их презрению.

Перевод Евгении Комаровой



Музгостиная

Талина ЧУМАК, муз. Елена ПИКУС

Донецк

А ЖИЗНЬ ИДЁТ

Лирично

p

Стем_

нс_ ло. Вре_ мя у_ хо_ дить. С Днеп_

ра у_ же по_ ве_ я ло про_ хла_ дой. Как

хо ро шо и стран но мне бро дить по

го ро ду ноч но му с Ва ми ря дом. Шу

мит де рев ев пыш на я лист ва, так

си стре ми тель но не сут ся ми мо... И

жизнь и дет, и тем она пра ва, нам

предъяв ля я счет не у мо ли мо. // на до.

Посвящается другу, учителю Людмиле Мироненко

Стемнело. Время уходить.
С Днепра уже повеяло прохладой.
Как хорошо и странно мне бродить
По городу ночному с Вами рядом.

Шумит деревьев пышная листва,
Такси стремительно несутся мимо...
И жизнь идет, и тем она права,
Нам предъявляя счет неумолимо.

Идем мы, как бы ни о чем
И обо всем ведем свою беседу.
И все прекрасно в городе ночном,
Кроме того, что я сейчас уеду.

Вот так бы не спеша, ходить-бродить
По городу ночному с Вами рядом...
Но слишком поздно... Время уходить...
Я не хочу. Но надо, надо, надо...

НИ В ЧЁМ МЕНЯ НЕ НАДО УПРЕКАТЬ

Темп вальса

The musical score is written for piano and voice. It begins with a piano introduction in 3/4 time, marked 'Темп вальса' (Waltz tempo) and 'f' (forte). The piano part features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes in the right hand and chords in the left hand. The vocal melody enters in the third system with the lyrics 'Ни в чём ме_ня не на_ до уп_ре_'. The piano accompaniment continues with a similar rhythmic pattern. The fourth system shows the vocal melody continuing with the lyrics 'кать. И в том, что влюб_ле_ на в те_бя бе_зум_'. The piano part provides harmonic support with chords and a steady rhythm.

f

8

Ни в чём ме_ня не на_ до уп_ре_

кать. И в том, что влюб_ле_ на в те_бя бе_зум_

но, от_кры_ то, пыл_ко, я_ рост_но и шум_ но, и

не мо_гу сдер_жать_ ся и_ли лгать. // ла.

Ни в чем меня не надо упрекать.
 Ни в том, что влюблена в тебя безумно,
 Открыто, пылко, яростно и шумно,
 И не могу сдержаться или лгать.

Когда тебе «люблю, люблю, люблю», –
 В часы уединения шепчу я,
 Я это слово не болтаю всуе, –
 А просто свои чувства не таю.

Я снова жизни ощутила вкус,
 И кажется, что счастьем нет предела,
 И только одного, увы, боюсь,
 Что, милый, до меня тебе нет дела...

Цных уж нет...



Давным-давно, когда умер поэт Павел Шадур, я написал о нём статью в газету «Социалистический Донбасс», с которой тот сотрудничал чуть ли не всю жизнь. Материал всё не выходил и не выходил, и я, заглянув к ответственному секретарю, поинтересовался, в чём дело. Не отличавшийся «политкорректностью» ответсекретарь раздраженно меня наставил: «Кому нужны мертвецы?! О живых надо писать!» Четыре года назад во время творческого вечера в Кёльнской синагоге я заговорил о недавно умершем Генрихе Каце, хорошо знакомом большинству собравшихся, и из зала раздался голос: «У нас тут сегодня литературная встреча или поминки?!». Упрёк по поводу моего чрезмерного, по их мнению, внимания к ушедшим литераторам я пару раз слышал, увы, и от читателей «Семейки». Что-то объяснять таким людям бессмысленно. В Донецке я пошёл к редактору газеты, и статья увидела свет. В Кёльне я досказал всё, что считал нужным, о Генрихе. А в ответ на вышеозначенные, к счастью, всё-таки немногочисленные упрёки читателей альманаха я решил завести эту рубрику...

ВА

Михаил АНИЩЕНКО (1950–2012)

«ПЕСНИ СЛЕПОГО ДОЖДЯ»

*Разбит мой мир, растоптан и подавлен,
И, в ожиданье божьего суда,
Я, как свеча, над родиной поставлен,
Чтобы сгореть от вечного стыда.*

Какие пронзительные, какие трагические строки... Думаю, эти и подобные им стихи имеет в виду Владимир Берязев, когда, сказав о главной теме поэта – «осознание собственной конечности», – пишет о его отношении к Родине, Руси, России и о взаимосвязанности этих тем: «В этой второй своей главной лирической теме Михаил Анищенко, вослед за Лермонтовым, далёк от пафоса и восторгов, он не воспевает, а страдает, он не проклинает и не отпевает, но – скорбит. Мысли о смерти и мысли о Родине для него, словно взявшиеся за руки два брата-беспризорника...»

С творчеством Михаила познакомилась, собирая материал для журнала «Эдита». Читая стихи Анищенко, поняла, что прикоснулась к незаурядному поэтическому дару истинно русского поэта. Связалась с ним по Интернету, но потом по каким-то фатальным обстоятельствам – то поэт был болен, то мой компьютер вырубился – общение с ним надолго прервалось. А когда наладилось, вёрстка журнала уже была завершена. Обсудив ситуацию с редактором А. Барсуковым, мы решили поместить подборку Анищенко в следующем выпуске. А вскоре о внезапной, безвременной кончине поэта нам сообщили его сотоварищи и соратники по перу...

В России сегодня широко публикуются произведения Михаила Анищенко. Поэт востребован – он воистину народный. Редактор альманаха «45-я параллель» С. Сутулов-Катеринич

вместе с единомышленниками Е. Степановым, Ю. Беликовым, С. Хомутовым, Г. Яропольским, собрав свыше 170 подписей поэтов, писателей, деятелей культуры и читателей, обратились к «отцам Самарской губернии» с предложением увековечить имя Михаила Анищенко на его родине. Но получили ответ лишь через три месяца, в котором конкретика размыта чиновничьими формулировками. Увы! Тема «поэт и власть» не теряет своей актуальности на Руси...

*Хотя б напоследок – у гроба,
Над вечным посевом костей,
Подняться на цыпочки, чтобы
Стать выше проклятых страстей.*

*Подняться туда, где и должно
Всю жизнь находится душе.
Но это уже невозможно,
Почти невозможно уже.*

Сборник Михаила Анищенко «Песни слепого дождя» (Новосибирск, 2011) сегодня представлен на берлинский конкурс «Лучшая книга года». А пока хочу сказать спасибо редактору журнала «Семейка» за возможность познакомить читателей с одним из значительных поэтов нашего времени.

Татьяна Ивлева

Положим, просёлок, дорога,
И лес утопает во мгле...
Положим, что это не много
Для счастья на этой земле,

Положим, что это не много.
Но как хорошо, что во мгле
Есть именно эта дорога
На именно этой земле!

Я воду ношу

Я воду ношу, раздвигая сугробы.
Мне воду носить все трудней и трудней.
Но как бы ни стало и ни было что бы,
Я буду носить её милой моей.

Река холоднее небесного одра.
Я прорубь рублю от зари до зари.
Бери, моя радость, хрустальные вёдра,
Хрусти леденцами, стирай и вари.

Уйду от сугроба, дойду до сугроба,
Три раза позволю себе покурить.
Я воду ношу – до порога, до гроба,
А дальше не знаю, кто будет носить.

А дальше – вот в том-то и смертная мука,
Увижу ли, как ты одна в январе
Стоишь над рекой, как любовь и разлука,
Забыв, что вода замерзает в ведре...

Но это ещё не теперь, и дорога
Протоптана мною в снегу и во мгле...
И смотрит Господь удивленно и строго,
И знает, зачем я живу на Земле.

Юность

Задрожала оконная рама,
Усмехнулся Христос на кресте.
Это нас выгоняют из храма
За слияние уст в темноте.

Это отзвук библейского гнева,
Это ветхозаветный дурман.
— Что же ты улыбаешься, Ева?
— Отчего ты так весел, Адам?
— Под дождём,
Под святым пересверком
Мы идём меж деревьев и струй.
Ни в одну православную церковь
Не вмещается наш поцелуй.

В фарисействе бессмертие тонет.
Но сливаются наши уста,
И на каждой сгоревшей иконе
Магдалина целует Христа.

Огонь

То-то было на сердце неладно,
То-то выла собака в ночи:
Возвернулись гостечки обратно,
Развалились, как угли в печи.

Одуванчики, пьяные в стельку,
Голосят с заповедных времён
Безвозвратную песню про Стеньку,
Беспросветную песню про клён.

Оборванцы мои! Забуддыги!
Гаснет пламя. И нечего сжечь.
Все бумаги мои и все книги
Дочитала голландская печь.

Догорел этот мир и распался,
Как воронье гнездо на дубу.
Всё, чем был он, и всё, чем казался,
В полчаса улетело в трубу.

Всё сгорело – слова и цифири,
День Победы и яблочный спас...
Ничего мы не знаем о мире,
Ничего он не знает про нас!

Рождество

В памяти воеет волчица,
В сердце рождается мрак.
Голод в окошко стучится,
Буря ломает барак.

Пахнет полынью, солодкой.
Люди, таясь в уголке,
Варят собаку с бородкой
В чёрном, как ночь, котелке.

Зона вселенского мрака,
Годы и сны в западне.

Каторжник, съевший собаку,
Учится лаять во сне.

Топчутся судьбы в загоне,
Тьмы наглотавшись сполна.
Рыщет прожектор по зоне,
Словно цепная луна.

Падают звёзды пунктиром,
И у подножья креста
Чёрным горячим чифиром
Поит Иуда Христа.

Русский дом

Ночью, в России, ловлю отголоски
Ропота черни и звона цепей.
Холодом каторги папа Домбровский
Дышит над чёрной лежанкой моей.

Где-то жуют ананасы буржуи,
Жареных рябчиков в глотки маня...
Мама Цветаева корку ржаную
Парит в горячей воде для меня.

Жалкие плечи, седеющий локон,
Пёрышко лука на зимнем окне;
И фотография дедушки Блока
Вместо иконы на жёлтой стене.

Беглость объятий и лёд поцелуев,
Запах картошки на ржавом ноже.
Вот и двоюродный дедушка Клюев
Тоже от голода пухнет уже.

Больше не слышится голос кукушкин,
Зябликов ловят голодные пси.
Месяц на небе сияет, как Пушкин,
Лермонтов вьюгой идёт по Руси.

Будто бы тысячу вечных вопросов,
От золотой головы отстраня,
В печку кидает парик Ломоносов,
Чтобы согреть хоть немного меня.

Я в неизвестность гляжу из тулупа,
Вижу другую Россию сквозь мрак.
Где-то в тарелках горячего супа
Плавают ранний и злой пастернак.

* * *

Я выпью ужас из стакана,
Уйду туда, где нет ни зги.
И волки выйдут из тумана,
Узнав мой запах и шаги.

Я закурю. Захорошею.
И на лугу, где зябнет стог,
Сниму пальто. Открою шею
С татуировкой «С нами Бог!»

И там, у рощицы, у Волги,
Перешагнув через ружьё,
Пойдут ко мне седые волки,
Как люди, знающие всё.

Все будет выглядеть достойно.
Какая жизнь – такой итог.
Они убьют меня не больно,
Разрезав плоть под словом «Бог».

И в поле, в снежной мешанине,
В сырой, как залежи газет,
Меня в дырявой мешковине
Потащит к зимнику сосед.

Потащит труп к нелепой славе,
Благодаря меня под нос
За то, что я ему оставил
Пальто и пачку папирос.

В поезде

Мне ни чаю, ни водки не надо.
Всё проходит – хмелей не хмелей.
Как поэт, убежавший из ада,
Я печально смотрю на людей.

Ждут они небывалого чуда,
Их волнует ночная езда...
Я не с ними. Я еду оттуда.
А они ещё едут туда.



Александр Богомазов.
Боярка. Поезд. 1913

Генрих ХАЦ

(1933–2009)

Поэт, прозаик. Автор книг «Разве это смешно», «Ожидание дождя», «Архивы памяти», «Вслед» «Публикации в эксиле» (посмертно) и других.

С НАДЕЖДОЙ НА ДРУЖБУ

Он как-то по-особому общался – доброжелательно, заинтересованно и одновременно очень деликатно. Дружили мы больше по телефону. Позвонит Генрих из своего Кёльна: как жизнь, когда выходит очередной номер альманаха, как чувствует себя моя престарелая мама? Получит ответ и, словно боясь быть навязчивым, сразу же прощается. Обязательно поздравит с публикацией, если где-то обнаружит таковую, скажет хорошие слова. А спросишь о его делах и здоровье – ответ один: всё нормально! Так что, когда я позвонил ему во второй половине июня 2009-го и мне ответили, что Генрих в больнице на обследовании, то никаких дурных предчувствий у меня не возникло. В этом году ему могло бы быть 80...

Он писал короткие, печально-ироничные рассказы, тем же настроением пронизаны многие его стихи:

*Местечковая нежность – с узорной каёмочкой,
А еврейская нежность – в особенной рамочке.
Вот прожили полвека, она его – Сёмочка.
И ругались, и дрались, а он её – мамочка.*

«С надеждой на дружбу» – так ты, Генрих, надписал мне свою книгу «Избранное», увидевшую свет незадолго до твоего ухода. Не знаю, оправдал ли я твою надежду, но твоего дружеского расположения мне не хватает.

«НАПЕРСТОЧНИК»

«Наперсточник» был с виду не настоящий – непорочное лицо, ученые залысины. Нежные руки лениво двигали по картонке три мерных стаканчика. Рядом лицедействовала масовка – два качка. Они «заводили» толпу, громко похвалялись выигрышами.

«Наперсточник» давно пресытился благодатью, которую гарантировал ему поролоновый шарик, заползающий, когда надо, под ноготь большого пальца. Очередного «лоха», мечтающего срубить «бабки», оценить было легко. Иногда его ловили на будто бы по рассеянности приподнятый край стаканчика, под которым он замечал шарик. Торопливо выкладывал заначку. Однако шарик непостижимым образом исчезал.

Перед этим фокусником остановилась девушка в цветастом наивном платице и синтетических босоножках. В руках – большая хозяйственная сумка. Несколько минут под маленьким лобиком билось постижение игры. Наконец решилась: «А мне можно?»

«Наперсточник» принялся тасовать стаканчики, но что-то, как теплой паутиной, связало ловкость. Время повернулось к девчонке, похожей на эту. «Может, такое же платье?» Дальше увидел: тряпочный шарик, считавшийся мячом, мечется по проплешинам площадки, между тремя сараями.

Он поднял голову, встретил взгляды девушки и качков. Выбрал между страхом и памятью: «Иди, иди, дочка, мы закончили». И уже спускаясь в метро, успокоил сомнения, виновато оправдывался перед ассистентами: «Вы что, не видели – за этой девчонкой опер стоял из МУРа».

АРТИСТ

Как многие коренные москвичи, я был в Большом театре считанные разы. Провинциальные родичи недоумевали: «Мы бы из него не вылезали!» «Успею» – легкомысленно парировал я. Сейчас в это трудно поверить, но Расскажи я во дворе о

посещении Большого, добился бы не восхищения, а какой-нибудь дополнительной кликухи. Например – Риголетто.

Время шло, я давно уже работал. Однажды коллега столкнулся со мной в коридоре. «Хочешь выступить в Большом театре?» «Цыганочку сплясать?» – вяло пошутил я. «Нет, серьезно, приехал Будапештский театр оперы и балета, им нужен миманс, статисты. Десять рэ за вечер». Видимо, романтика еще до конца не выветрилась из меня, мне представилось, что я пройду по гримерным, репетиционным залам и спущусь в преисподнюю к таинственному поворотному кругу. Второго такого шанса судьба не дает. Короче, подписался на эту авантюру. В назначенный день гордо отворил дверь служебного входа, назвал вахтеру свою фамилию и уже через несколько минут слушал наставления режиссера, дородного молодца с плутоватыми глазами. Может быть даже, он был чуток подшофе.

Опера, в которой я должен был предстать перед публикой, называлась крайне неблагозвучно «Ласло Хуняди». «Это вроде вашего Бориса Годунова», – пояснил режиссер. После некоторых манипуляций мне выдали костюм стражника и какое-то оружие, саблю или бердыш – не помню.

Когда из зала смотришь на сцену Большого, видишь ярко освещенную площадку, декорации, красивых людей. Короче, видишь праздник. Стоящих на сцене угнетает зловещий холод черного провала зрительного зала, пыльный запах кулис, ощущение какого-то фальшивого действия, балагана. Искусством и не пахнет. В первом действии послушно топал за главным героем. Особенно невзлюбил его затяжные арии, во время которых двигаться запрещалось. Затекали ноги. Для второго акта мне выдали костюм аббата, и Хуняди, к этому времени попавший в тюрьму, мне исповедовался. Естественно на венгерском, но я все равно его молча простил. В третьем акте меня опять повысили, я стал уже епископом и движением руки дал команду отрубить этому Ласло голову. Думаю, публика не заметила моей головокружительной карьеры.

Режиссер меня хвалил, но, к моему удивлению, для участия в следующем спектакле не пригласил. После мне объяснили,

что статистов подбирают под размеры костюмов.

Через год я поехал в командировку в Будапешт, нам показывали город и повезли на Рыбачий Бастион. «А это наш король Ласло Хуняди», – пояснил гид, показывая на памятник. «Помню, – негромко отозвался я, – как-то отрубил ему голову».



ГОСТИ

(Вслед за И. Бабелем)

Из кастрюли рвался паровозный картофельный пар. Потные женские тела беззлобно сталкивались на кухонном подиуме.

В Кёльнское новоселье просочилась соседка, нерешительность которой скрывала почти мотоциклетная оправа очков. Она вызвала в коридор Беню Крика.

«Слушай, хозяин, – страстно прошептала очкастая, – кажется, к тебе собираются нехорошие гости...». – «Ну иди, – скривился Крик, – я больше никого не жду».

И она ушла, эта всезнайка.

А новоселье катилось себе дальше, от приторных тостов к веселым попыткам растряссти в танцах давящее нутро.

«Беня, – позвал папаша Крик, – что она тебе сказала? Полиция нас будет иметь за то стекло, что разбил Ильюшка?»

Беня почесал подбородок: «Может, в социаламте узнали, что мы купили холодильник «Bosch», шлют на меня облаву?»

«Какая-то беда?» – не унимался старик.

«Папаша, – ответил молодой Крик, – в Германии без термина никто ни имеет права к нам придти. Это ведь не привоз. Тут Европа. Если что, должны прислать маляву. Пожалуйста, выпивайте и закусывайте. И пусть вас не волнует этих глупостей. Сегодня нашему празднику никакие гости не помешают».

Вениамин ВЕЛЕРШТЕЙН (1961–2012)

Поэт, прозаик, бард. Созданный им Бохумский клуб литературы и музыки (КЛиМ) носит теперь его имя.

ВЕНЯ

Для тех, кто лично знал этого замечательного человека, достаточно произнести его имя, и никакие другие слова уже не нужны... Пишу для тех, кто его не знал.

Родился Веня в 1961 году в Москве. Учился, женился, приехал с семьёй в Германию, где мы с ним и познакомились. Веня прожил яркую и насыщенную жизнь, в которой литературное творчество занимало важное место. Он находился в постоянном поиске, самоедствовал, шлифовал каждую строчку. Есть мнения в среде литераторов, что Вениамин Велерштейн не очень сильный поэт. Но Веню нужно было слушать! В его исполнении стихи и песни звучали безупречно, завораживающе. Когда я его слушал, меня распирало от гордости и зависти. От гордости, что это мой друг, и от зависти, что сам я так не умею... И проза его мне очень нравилась – главы неоконченной повести я проглатывал без отрыва на чай или сигарету. Единственное, чего бы я, на мой вкус, туда добавил для большей достоверности, так это «натуральных оборотов», в чём я пытался его убедить. Но, интеллигент с большой буквы, он не выносил скабрёзностей ни в творчестве, ни в жизни. Он и в людях не замечал (не хотел замечать) плохого. Поэтому и критиком был неважным – не оттого, что не чувствовал слабых мест в чужом творчестве, а оттого, что из той же интеллигентности боялся обидеть или расстроить человека негативным отзывом. Таких, как он, на современном жаргоне иногда называют «ботанами», кем Веня, разумеется, не был. Это был мужик под два метра ростом, крепкого телосложения (студентом серьёзно занимался борьбой), привычный к любой работе.

Умер Веня год назад от рака желудка. На его похороны пришли человек 60, и еще не меньшее число людей выразили сожаление, что не смогли приехать. И это в иммиграции, где знаешь многих, но далеко не со всеми приятельствуешь, не говоря о – дружишь...

Алексей Розумов

* * *

Как в дверь, я как-то в вечность заглянул.
На том пути... Я там себя не встретил.
А мир не темен был, но и не светел...
Старуха печь топила на рассвете,
Потом расчесывала гребнем седину
И морщилась: бродячий музыкант,
С утра больной, опохмелившись квасом,
От альта голосом переходя до баса,
Пытался что-то там напеть из Брамса,
То скрипку трогая рукою, то – стакан...
День незаметно возникал из мглы,
И кур кормили где-то на подворье,
Кряхтел старик, ругаясь на здоровье,
И рыбки золотой шумело море,
Насмешливо катя свои валы...
Потом стеной нахлынула волна,
Я отступил, чтобы ей дать дорогу...
И дверь захлопнулась. Я дома, слава Богу.
И я еще не подошел к итогу –
Дорог на выбор больше, чем одна...

Сонет

В мгновенье ставится вопрос.
Ответ – неразрешим веками...
Не ошутимое глазами
Стремительно движенье звезд.

Куда безумный их полет?
На встречу гибели иль жизни?
К какой неведомой отчизне
Стремят в пространстве вечный ход?

Какая черная печаль
Вдруг заставляет звезды гаснуть
И рвать пространственную нить?

Их бесконечно сердцем жаль...
Быть может, в мире – все напрасно,
За исключением слова – жить.

* * *

Мне хотелось бы встретить кого-то, кто знает не всё на свете.
Ему совсем не обязательно быть очень добрым и умным...
Вы не знаете – зачем так жестоки бывают дети,
А взрослые так любят многозначные суммы?

Рассыпанный по дорожкам судьбы, как прошлогоднее просо,
Буду подобран странными птицами с длинными клювами.
Не дай Бог, знать ответы на все вопросы,
Например, зачем цветы убивают клумбами?

Итак, если мне повезет и его я все-таки встречу,
Я смогу помолчать с ним о заботах, тревогах и горе,
А умные будут кричать, мол, вот, двое увечных! –
Мы же будем молчать, друг другу молчанием вторя...

Не судьи, не подсудимые, так – зернышки в пыли столетий,
 Накормившие птиц, чтобы, гордые, не сразу умирали.
 Река времени обмелела от ила клейм и сплетен,
 А так же течет, событийности ниткой играя...

* * *

Порою нужно уходить
 От этой жизни,
 Ведь стала тесной мне,
 Как старая рубашка,
 Что так привычно
 обнимает плечи,
 но воротник
 уже не застегнуть.
 А если застегнул –
 дыхания нет,
 не сыщешь и в помине,
 Зато есть гордость –
 Всё ж преодолел
 Сопротивленье пуговицы(?).
 Жаль, что нитки слабы,
 И ножниц нет,
 И нет иглы,
 Чтоб жизнь перекроить...



Александр ЖДАНОВ (1948–2013)

Автор 420 песен (стихи, музыка, исполнение). В концертном варианте – циклы песен «На войне, что зовется жизнь», «Дуэль», «Я тут стоял», «Мы», «Реабилитудие», «Там, где нас нет», «Скиф-1», «Скиф-2», «Эпоха экстрасенсов», «Вишневая веточка», «Млечный путь», «Сон-трава», «Пастух дождей». Автор книг трех книг «Дуэль», «Печальный трубач», «Песни скифа».

ПЕЧАЛЬНЫЙ ТРУБАЧ¹

9 февраля 2013 года за полчаса до своего дня рождения скоропостижно скончался от вирусной пневмонии бард Александр Жданов, наш донецкий земляк, живший в последнее время в Москве.

Саша – редкий случай гармонии: и в жизни, и в песнях он был самим собой. Немного сентиментальный, верный, справедливый, благородный, беспощадный к негодяям и обидчикам. Вступался за всех (при мне – неоднократно). Иногда разнимал, чаще защищал. Лез на рожон, ненавидел подлость. Бывал бит, если хулиганье кооперировалось. Это мы потом уже видели по синякам и ссадинам. Писал талантливые хлёсткие сатиры – порой ядрёные, забористые. А в лирических песнях иногда размякал, немного «перебирал сладости». И всё это пребывало в какой-то химической (алхимической?) соразмерности, в ладу с его внутренним миром. Он был цельным человеком. А теперь его нет. До сих не верится, что его нет. Такое вот страшное слово...

Я нашла у себя эпиграмму на Сашу Жданова 1992 (или 1993) года, когда он работал в каком-то нашем экологическом центре, ну и сочинял, конечно. А вечер его проходил в Доме работников культуры. Эпиграммка не совсем зубоскальная (совсем незубоскальная). Поэтому, думаю, здесь уместно её вспомнить:

¹ Воспоминание К. Исупова об ушедшем друге читайте в разделе «Лёд и пламень».

*Филолог ли, эколог ли,
какая к чёрту разница!
Душа гудит, как колокол,
что нам ужасно нравится.
Мы тоже были честные,
стремились к начинаниям...
Так отчего, болезные,
на нас сошло молчание?
От водки ли? От лени ли?
Иль от могильных плит?..
За наше поколение
пусть Ждан отговорит.*

Ирина Попова-Бондаренко

Плач о пленных

Окаянной рекой Каялою
Стал Афган для вас в той войне,
Только наши князья лукавые
Не седлали своих коней.

Не вели в рассвет под хоругвями –
Честь и славу в бою добыть.
Им – ни раненым, ни поруганным –
У поганных в плену не быть.

Не по ним захлебнулись плачами
Ярославны в немых стенах,
И кровавые наши мальчишки
Не стоят у князей в глазах.

Костыли и медали розданы,
А над вами забвенья мгла,

Только не прокляните Родину,
Что в беде помочь не смогла.

Может, судьбы пленённых воинов
С наших глаз сорвут пелену?
Оттого что мы здесь невольники,
Сыновья наши там – в плену!

Сумерки

Всё тревожней бьётся
Свет в ладони дня.
Видно, не дождётся
Милая меня.
Покачнусь от боли
Посреди пути
И пойму, что больше
Некуда идти.

Суэта дорожная,
Не кружись.
Невозвратно прожита
Жизнь.
Маета осторожная –
Не сбежишь.
Без любимой прожита
Жизнь.

Я всё ближе, ближе
К сумеркам стою.
Больше не увижу
Милую мою.
Боже мой, следы мои
Снегом занеси,

А мою любимую
От меня спаси.

Я метался по свету
Без пути,
Ах, не дай мне, Господи,
К ней дойти.
Ей приснится ласточка
Вольная,
Ну зачем ей, ласковой,
Боль моя?

Всё тревожней бьётся
Свет в ладони дня.
Видно, не дождётся
Милая меня.

Туман и дождь

Туман и дождь. И шум дождя не слышен,
И голос твой давно погас во мне.
Туман и дождь. И ветви старых вишен
Дрожат в окне, в заплаканном окне.

Туман и дождь. Теперь бы водки выпить
И, за слезой оконною следя,
Издалека услышать скрипок всхлипы
Сквозь пелену тумана и дождя.

Туман и дождь, и на стене – раскрытый
Талмуд судьбы из двух страниц окна,
Где письма неясны и размыты,
Где я один, а ты с другим. Одна.

Уходи!

Уходи!
Всё равно я один
На ночном бесконечном перроне.
Уходи!
Если встреча – двоим,
То разлука – всегда одному.
Уходи!
Уходи, не смотри,
Как надежду хоронят,
Как уносят её поезда
В ненасытную тьму –
Уходи!

Уходи!
Я уже не с тобой,
Я в пути – боль меня не догонит.
Уходи!
Обнимая тебя,
Я уже не тебя обниму.
Уходи!
Здесь так искренне лгут,
Пряча мокрые лица в ладони.
Уходи!
Уходи, если лгать,
То уж лучше себе самому!

Уходи!
Говорят, время лечит тоску,
Но я в это лекарство не верю.
Уходи!
Уходи и не жди,
Что я крикну: «Пиши! Я вернусь!»

Уходи!
Я шагну без оглядки в вагон
И умчусь к моим новым потерям.
Уходи!
Я шагну без оглядки в вагон –
Будь я проклят –
Но я оглянусь!

Оглянусь.
Оглянусь и увижу тебя
На пустынном перроне.
Оглянусь.
Оглянусь и пойму:
Снова прошлое ждёт впереди.
Оглянусь:
В уплывающем свете,
Холодном и потустороннем,
Ты осталась одна.
Ты – со мною. Родная моя,
Уходи!

Давайте помолчим

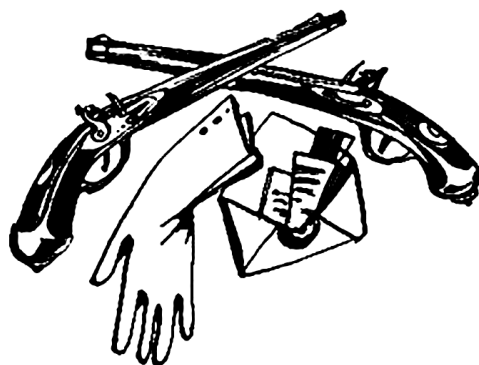
Давайте помолчим в недобрую минуту.
Такие времена. Давайте помолчим.
Давайте помолчим. Во дни жестокой смуты
Стенать и мельтешить – не дело для мужчин.

Как много нынче тех, кто цену слов не знает.
Когда оглохла кровь, когда ослепла месть,
Когда круги времён безумие вращает –
Пусть слово скажет Долг, и слово скажет Честь.

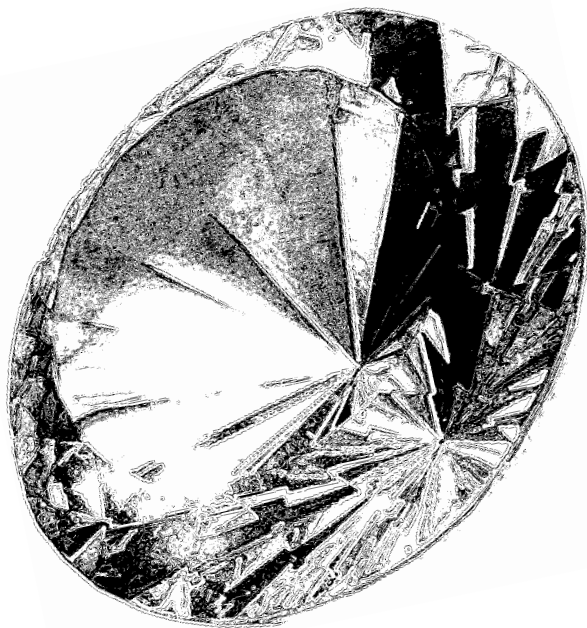
Я русский офицер. Я знал и зной, и холод.
Не баловень судьбы. Но ведь не в том же суть,
Что позолота звёзд не часто нас находит,
Не чаще, чем свинец находит нашу грудь.

Суть, право же, в другом: обидно быть изгоем
В Отечестве своём, но правды нет верней –
Не смеет даже смерть сорвать мои погоны,
Пока на них лежит честь Родины моей.

Давайте помолчим в недобрую минуту.
Такие времена. Давайте помолчим.
Давайте помолчим. Во дни жестокой смуты
Стенать и мельтешить – не дело для мужчин.



Лёд
и пламень



Василий БЕТАКИ

Париж

С НЕВОДОМ ПО БЕРЕГУ ЛЕТЫ

(Окончание. Начало в 11 выпуске)

10. Звучание тишины. Вера ФРЕНКЕЛЬ (1929-1974)

Ни одной строчки своих собственных стихов Вера Фёдоровна Френкель при жизни не опубликовала, хотя она была широко известна как переводчик польской, немецкой, шведской и датской поэзии. Стихи ее стали известны, да и то всего несколькими её друзьям, лишь после ее самоубийства в 1974 году.

Мало кто помнит в наши дни об этой трагической личности, об этой очаровательной и странной женщине...

Вера была очень миниатюрна, одета подчеркнуто архаически, всегда со шнуровкой спереди на талии, с огромной копной пепельных пенных волос и в огромных очках. Лица поэту было почти не видно. Возраст тоже ускользал от собеседника. С одинаковой вероятностью ей можно было дать и двадцать пять, и сорок пять... Когда мы познакомились ближе, я узнал, что она почти моя ровесница. Точнее – на год старше.

Когда-то она посещала литобъединение Глеба Семёнова.

Мы познакомились году в 65-ом, на заседании секции переводчиков в Доме Писателей. Вера тогда ходила в скандинавский семинар Сергея Владимировича Петрова.

Она открыла польского поэта, Тадеуша Ружевича и перевела множество его стихов.

Переводила Вера со всех скандинавских языков и почти со всех славянских. А еще с немецкого, который знала, как второй родной.

К подстрочникам она относилась ещё непримиримей меня: «Переводить, не слыша звучания, да это же исполнять музыку композитора, которого никогда не слышала, нот которого не видишь, а так, потому что тебе о нём рассказали».

Как-то раз она принесла мне стихи позднего немецкого романтика Эдуарда Мёрике, и стала настаивать, чтобы я перевёл несколько его баллад для готовящейся книги. Я перевёл, и мы с ней вместе стали их редактировать. Вот тогда мы с ней ближе познакомились и подружились.

Издредка удавалось её вытащить из дому погулять по городу, но только в солнечную погоду. Словно её белопенность боялась питерских дождей и серого неба. Так оно и было: с конца октября и, по крайней мере, до Нового года она исчезала из города – не выносила темноты и промозглости питерской осени и зимы.

Куда? А «на юг», подробнее не знал, наверное, никто в Питере... Она всегда была очень скрытна. Так я даже не знал, пока жил в Питере, что у неё есть не только переводы, но и свои стихи...

В 1973 году я уехал в Париж. А осенью 1974 года приехавший в Париж Е.Г. Эткинд рассказал мне, что Вера выкинулась из окна. Произошло это в марте 1974 года... Она почему-то всю прошедшую зиму – впервые против своего обыкновения – не уезжала из города на юг.

Ефим Григорьевич привёз мне всю ту часть её архива, которая состояла из стихов. Сказал, что такова была ее воля. Как и когда она сказала об этом Эткинду, я, разумеется, не спрашивал, а он сам не говорил. В архиве действительно не было ни одного перевода. Только стихи. Причём часть их даже не перепечатана на машинке – вот так, в толстых тетрадках или на отдельных листах... Я тут же сделал о ней невесёлую передачу по «Свободе». Называлась она «Дожди, дожди»... Потом опубликовал в «Гранях» несколько стихотворений.

Короткие миниатюры, тихие и белопенные, как сама Вера...

*Ветки сами блестят. Без солнца.
Солнце боится до них дотронуться.
Там на дереве выфосли коготочки
Белые.
Разве поверишь, что это – почки?*

В чём она, трагичность, этой тишайшей, как и её автор, поэзии? Не знаю. Но звучит эта трагичность в каждой строке... Вернее – во всей интонации стихотворения... Начиная с центрального образа (почки мягкие, а оказываются зловещими когтями) и до поставленного отдельно слова «белые», от медлительного звучанья начала до резкого звука в конце... Но ведь минская метаморфоза эта приносит ощущение болезненное... Трагичность этой поэзии как бы растянута по всему руслу, где как волны мертвой зыби колышутся и не движутся стихи.

Прозрачные стихи, словно слепленные из капель серебристого тумана. И само ощущение дождливого и чуть иронического мира, как и вызываемый им катарсис, остаётся за пределами стиха, но читатель неминуемо к ним приходит...

Неуловимость мига, невозможность его выразить, сама выразилась вот в таком стихотворении:

*Кто-то встал в дверях и заржал
Тихо, тонко...
Жеребёнка
Разве погладишь?
Руку протянешь – нет никого
Он уже убежал...*

Это стихотворение отдельно смотрится как-то неполно, как мимолётная картинка. А в том большом цикле стихов о любви, из которого оно взято, это – звено многогранного и полифонического единства...

Кто-то из видевших у меня недавно её стихи сравнил миниатюры Веры со стихами Г. Айги, но я не согласен: снежно-рябиновые строчки Айги – все писались как бы специально «под перевод», для западных поэтов-переводчиков, чтоб им проще было... Так мне кажется...

А тут тихий белый выплеск, всплеск стихийный. Интуитивный. Не поддающийся никакому рациональному анализу.

Так её и не напечатали никогда...

Я хотел издать в Париже небольшую книжку её стихов, художник Генрих Элинсон, в свой очередной приезд из Калифорнии, сделал серию полуабстрактных иллюстраций, но тут моё крохотное издательство «Ритм» закончило своё краткое существование. А больше издавать было негде... Ни «Посев» ни «Имка-пресс» не заинтересовались этими стихами: «Имка» чем дальше, тем всё больше издавала всё религиозное и философское, «Посев» – сугубо политическое. А с «Ардисом» в США я не был знаком...

Стихи Веры Френкель наполнены туманом, страхом перед этим туманом болотистого Севера и гранитного неуютя. Картины природы и города у нее неколебимо статичны. Мир застыл на черно-белой фотографии. Стихотворения ее – одно внутренне связанное с другим, – как фильм, из неподвижных этих фотографий составленный, как монотонный шум дождей, стремящийся что-то выразить и заранее чувствующий, что всё сущее – невыразимо.

Вера Френкель
СТИХИ

(Публикуются впервые. Сетевая публикация Василия Бетаки)

1. Церковь

Здесь надежная охрана:
Замкнутый круг храма...
Два-три года разве что просочатся
За пределы пространства.
А годам тут и счет утерян,

Не утечет стоячее время...

2. Чёрный вечер

Уже –
не дом! А небоскреб плавающий,
Пролитый с вышины.
Работа тучи.

Спускаясь, громоздятся этажи
И влажно дышат в черноте глубокой,
Но через час их самых желтых окон
не станет...
Дом как дом...

3.

В круговорот пускаются деревья
И отпускают листья,
опускают
С небес на землю.

Внемлю,
И воздух серо-золотой,
Густой,
Как рыбами, наполненный листвою...

По осени не расставляют сеть
И елки глухо пробуют звенеть –
В лесах висит коричневая сеть.

4.

Осень, осень.
Весна начинается с сосен.
Что пахнут
Весной
Или сосной – весна
Смолой и льдом
Со сна...

А тронутся льды –
И следы
Одиноких ног
Пустились в путь
Потекли по дорогам и без дорог...

5. Одинокий

Да, бесприютней может быть едва ль
Тому, кто плавал в чуждом океане.
Наполненное время перед вами,
А для меня – полна фантомов даль.

В лицо мое безлюдный мир проник,
Ненаселенный, плоский, как луна.

Вы ж делите друг с другом каждый миг,
Любая ваша мысль населена.

И рядом с вашим кажутся странней
Те вещи, что со мною входят в двери –
Им стыдно здесь дышать: они здесь звери,
В обжитой вашей, светлой стороне...

6. Горы Кабарды

Речь древняя о людях и конях –
В живых камнях.
И синь.
И розов движущийся образ.
Прообраз
Картин, трагедий и скульптур –
Рождение полыхающих культур.

7.

Даже дым недвижим.
И на стенах застыли тени.
Шевелиться лень им.
И замер снег...
Раскрывается небо, посинев

8. Канал Грибоедова

Зелёная бутылочная тьма.
Колеблются, колышутся дома.
Меня вид, меня выражение,
Так движутся с сознанием отраженья...

9.

Вот туда б – за синие облака-туманы,
В позабытые мною страны
Дождя...
А не волком быть
Или ливнем лить
Слезы горькие, на горячем горе,
Это каждая-то слеза!
А приводит в движенье море –
(Облака – синие паруса)
Зажигает алые небеса...

10. Старая Ладога

Войдёшь – и поднимаются слова.
(Не сразу!) Голова
Церквушки в сером оперенье.
Наряд её, крылатый и простой,
Как сумерек медлительный настой
Над вековой, над избяной основой.
И стой и стой,
Вникая
Снова в глубинную,
В бревенчатую суть,
Но в окна
 не пытайся заглянуть:
Темно.
А красновато светится окно,
Таинственности повторенье...

2

Собор, приподнимающий крыла
столетия – защитно – головой
могучей
недвижимо удерживает тучи
сгустившегося векового зла.

Клубится сотрясающий их гром,
Земля стоит спокойно под Крылом.

11. Плавание

1. Земля

Как в плавание, пускаешься в туман.
В морозный, в розоватый океан,
Где под мостами дымными плывёт
В туман преображённый, влажный лёд.
Недвижен и медлителен полёт
Трамваев призрачных и серых,
а мосты
И невесомы –
зыбки –
и густы.
Храм на крови – как голубая тень.
Вплетается в текучий этот день
И алое не тонет солнце...

2. Первое тепло

Бывают города – как города.
А над Невой – ты в плавание всегда.
Захлёстывает вешняя вода,
Ты шаг за шагом
медленно плывёшь,
Расходишься кругами,
будто дождь.
У моря – мили,
у Невы – мосты.
Для этой меры не жалея версты,
Ныряй в пролёты – и дугою ввысь.

Всей тяжестью,
как купол,
растворись
в парном тепле...

26 марта 1970 г.

12.

1.

Мост не громыхает над Невой,
 как поезд.
А стелется, на время успокоясь,
И бережно подносит фонари
К сиренево-молочному туману.
Но фонари потворствуют обману –
не светят.
Не дают ввести в обман,
В мир вносят чёткость,
оградив туман
Коричневато-серыми стволами.
Трамвай течёт во внутреннем тумане....

2.

Мост утончился в медленном дожде,
течет, приподнимается до стыка,
я вижу одновременно два лика,
два цвета ратоборствуют везде.
Коричневато-красный колорит –
Туман окрашивается в гранит...

1 сентября 1973г.

13.

Неподвижная нежность. Не иначе
Порастёт кувшинками. Как стоячий
Пруд...
А вот тут-то и кинут камень...

11. Видящий всадников. Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ

Юрий Карабчиевский никогда в СССР не печатался. Единственная значительная публикация его стихов состоялась в ж. «Грани» в конце 70 годов, когда я получил для этого журнала из Москвы рукопись книжки «Трамвайная Москва» и ещё некоторые стихи. (Хранятся в архиве «Граней»). Но и поныне большая часть их не напечатана. И, может быть, нынешняя редакция «Граней» – уже давно московская, а не франкфуртская, – просто не знает, какого интересного поэта затеряла она в куче своих бумаг... А между тем, как мне представляется, поэт этот весьма незаурядный! Из биографии его я знаю только, что родился он вроде бы в конце сороковых годов, а умер в конце восьмидесятых...

Хотя многим известна только его скандальная и несправедливая литературно-критическая книжка «Воскресение Маяковского», изданная в восьмидесятых годах редакцией выходившего тогда в Германии эмигрантского журнала «Страна и мир». К этой книге, к оценке Карабчиевским противоречивого творчества В. Маяковского можно относиться по-разному, но и она незаурядна, и вызвала в своё время в эмигрантской критике отклики крайне противоположные – от и до...

Но тут речь пойдёт о стихах. Ю. Карабчиевский прежде всего поэт «апокалиптический», хотя и не в богословском смысле этого термина, а в поэтическом и политическом...

В самом же «Откровении Иоанна», со всей его сложностью символики и многоплановой образностью есть всё же некоторые метафоры, ставшие общеизвестными и даже расхожими.. В частности – образ четырех всадников.

Часто «Апокалипсис» трактуют как описание безусловного и бесповоротного конца мира. Такой взгляд не раз опровергался как в литературоведении, так и в библейской критике

и в разной богословской литературе. Но взгляд такой продолжает бытовать, хотя поверхностность этой трактовки видна просто из самого текста. Ведь если «всаднику на бледном коне, за коим ад», дана четвертая часть земли, то ясно, что «вышедший победить» всадник на белом коне – это символ добра, которое придет лишь после того, как огненный всадник сожжет все то, что «отмерит и укажет» черный всадник. То есть короче – Апокалипсис есть пророчество Возмездия, а вовсе не полной гибели мира...

Уместно тут вспомнить, говоря о поэзии Карабчиевского, блоковскую строку «Невиданные перемены, неслыханные мятежи». А уж в русской поэзии конца шестидесятых годов XX века этот мотив был весьма нередок («Чую Кучума» у А. Вознесенского, или «Надо всем пылают во тьме, как на празднике Валтасара письма кока-колы» у И. Бродского), такие примеры можно множить...

А Юрий Карабчиевский не просто обращается к образам из Апокалипсиса, а ставит образную систему этой книги в центр своей поэтики.

Рукописный сборник его стихов «Трамвайная Москва» пронизан духом предчувствия страшных и скорых перемен. «Так дальше невозможно!» «Страшный мир» Карабчиевского – не блоковский – тот был ужасен, но красив, а этот уродлив и до крошки реален – из него все подобное красоте изгнано.

*Троллейбусы кусают удила,
Не верится, не терпится, не спится,
И женщин пропотевшие тела
Едва прикрыты платьями из ситца.*

Накалена во всех смыслах атмосфера города. Должна вот-вот обрушиться небывалая гроза. На все головы этого мира, бессмысленно-суетного.

*Москва пропахла потом и духами,
Стихам и клятвам позабыла счет,
Она стоит в слепом июльском гаме,
Как женщина с красивыми ногами,
Усталая, не старая еще...*

Вот каково олицетворение «последних дней» Москвы, где кроме пота и духов несёт бензином и более всего – духотой. Этот образ параллелен апокалиптическому: «Вавилон, великая блудница, ибо яростным вином блудодеяния своего напоила она народы. И цари земные любодействовали с нею и купцы земные разбогатели ... И волшебством твоим введены в заблуждение народы и найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле».

Разумеется, стиль Иоанна Богослова и стиль поэта наших дней – полярно противоположны, но сама тревожность предчувствий, выливающих в грозную инвективу, – та же самая:

*Но для таких, как я, – пугающихся звука
шагов своих, для тех, кто так и не привык,
все праздники твои – одна большая мука,
все улицы – один большой тупик!*

И даже если стены этого тупика обрушатся и всё в мире начнет принимать иные формы – то всё равно великая блудница до поры останется неизменной:

*Ведь что бы ни случилось – рев команды,
рывок в начале и удар в конце –
полоска полустершейся помады
не шевельнется на ее лице.*

Ибо не дано Вавилону перемениться – она, блудница, (по-арамейски Вавилон женского рода) в очертаниях которой не зиккураты, а Воробьевы горы ясно просматриваются, она

должна или остаться собой, или сгнуться: «Не будет в тебе никакого уже художества, никакого художника и шума от жерновов не будет слышно в тебе».

Предоставим читателям самим сравнить апокалиптические видения поэта с нынешней реальностью, хотя настала она, по сути дела, без всякой грозы... И в этом смысле реальность не вовсе апокалиптична...

Символическим предвестием исполнения этих пророчеств, для поэта с виду безобидным, но на самом деле ужасным, предстают в стихах Карабчиевского вполне прозаические цыганки, бродящие по улицам сегодняшнего, трамвайного, Вавилона:

*Цыганки бродят по Москве,
Галдят и кланчат папирсы,
И в парке, распустивши косы,
Сидят на стриженной траве.*

Их мир – непонятный, мир, пугающий обывателя. Даже тот младенец, которому где-то «в общественной уборной/ дадут коричневую грудь» – он тоже страшен жителям обречённого города:

*Его судьба – гадать и красть,
Сменять Кавказ на Подмосковье,
Палеолит? Послевековье?
Какой закон? Какая власть?*

Послевековье – это послеапокалиптические времена, когда «времени больше не будет».

В последнем из трёх самиздатских машинописных сборников Юрия Карабчиевского, попавших мне в руки почти 30 лет тому назад, есть ещё стихотворение, которое необходимо тут процитировать полностью. Оно, на мой взгляд, может служить, эпиграфом ко всему творчеству этого поэта:

Константин УСУПОВ
Санкт-Петербург

АЛЕКСАНДР ЖДАНОВ – НАВЕКИ

Писать нечто – некролог ли, мемуар ли – о человеке-друге, которого сорок пять лет знал, да не просто знал, а рядом прожил лучшую часть жизни, занятие какое-то метафизическое. Не требует ли каждый жанр своей меры авторской внутренней собранности? Для некролога надо хоть на пару дней отрешиться от чувства невосполнимой потери, а для мемуара потребна дистанция во времени. Для отрешения никто еще инструкции не придумал (кроме увещательного богословия, да толку от него мало), а для дистанции время не приспело.

Ждан пришел на первый курс филфака Донецкого университета, когда я был на третьем, хотя по возрасту мы почти одногодки. Жизнь первокурсника назвать содержательной никак нельзя. Беспутная эта была и бестолковая жизнь, но чудным образом всяческое дуракавалянье и джигитовка по оконным карнизам студенческого общежития сочетались с серьезным накапливанием профессиональных знаний. Читали мы много, на то она и филология, хотя нас не только филология интересовала. К философии Ждана не тянуло, зато по карнизам он лазил, как Великий Хануман – индийский Обезьяний Король. Так хорошо у него получались переходы из комнаты в комнату по внешней стороне стены, что однажды с третьего этажа загремел вниз (вместе с Валерой Калинкиным). Хорошо они упали в какую-то яму, где лежали свернутые в круги резиновые шланги; они их спасли.

Сашку часто затягивало в сомнительные кампании и темные углы. Его тянуло туда, где риск, опасность и есть шанс дать кому-нибудь по морде (или получить – бумерангом). Эти следы хуторского сознания и поведения (Саня вырос на хуторе Широком под Донецком, где, кроме шпаны, никого и нет) в нем остались до конца жизни.

Внутри него было много разных людей. Ждан – это театр личностей, он человек-артист. Прошу понять меня правильно: речь идет не о банальном репертуаре социальных ролей, бытовых масок и амплуа, которые все мы, по лицемерию своему и лукавству, пользуем в своей повседневности. Нет, он был именно артистичен в том высоком смысле многогранной человечности, в каком мы говорим об артистичности Пушкина – и в быту, и в творчестве. Есть люди-педанты и люди-артисты, Сальери и Моцарты. Тезка Ждана, Александр Блок, назвал свою рецензию на книгу проф. Н. Котляревского о Лермонтове «Педант о поэте» (1906). Блок в быту пытался упорядочивать свой бытовой космос: на письменном столе царил образцовый порядок, а все письма были разложены по авторам, годам и дням. Но внутри поэта бушевали цыганские страсти; один цикл «Кармен» чего стоит! Но когда педант (немецкие корни!) и поэт («Россия, нищая Россия...») встретились, сознание Блока этой встречи не выдержало, и умер он уже безумцем, как и положено романтику.

Я не хочу сказать, что Александр Жданов всерьез сыграл в своей жизни судьбу Александра Блока. Но мне эта рифма жизненных путей двух поэтов (конечно, не сравнимых по калибру и масштабу) пригрезилась вот почему. Как-то мы с ним сидели и рассуждали о книге доктора Моуди «Жизнь после смерти», – она тогда в моде была. Мне эта тема близка, по проблеме смерти я много чего напечатал и даже толстую антологию по русской танатологии издал; Ждан успел ее полистать.

Я рассуждал в том смысле, что у книги Моуди неверное заглавие: надо бы назвать не «Жизнь после смерти», а «Жизнь вместо смерти», коль скоро в книге описан не опыт смерти, а опыт умирания, агонии – кто что успел запомнить. Типичное припоминание – пролет сквозь туннель к ослепительному свету. Или такое состояние: человек, агонизирующий на операционном столе, обнаруживает себя под потолком (высоко и справа), видит свое бездыханное тело, врачей, но они его не видят и не слышат.

Когда Санька услышал вот это: «высоко и справа», он аж подскочил на стуле. И рассказал, как в автокатастрофе (разбил свою машину; вышиб головой ветровое стекло и вылетел вон) пережил такое именно состояние: как бы взлетел диагонально вверх и справа и увидел самого себя, лежащего на капоте. Он пришел в себя сам, но успел пережить клиническую смерть. Голова потом стала часто болеть, а организм не принимал алкоголя ни в малейшей степени.

Этот казус с воспарением над собственным телом был у Ждана завершающим моментом накопления внутреннего катастрофизма. В финале пути сия ситуация венчается тем, что все герои внутреннего театра выходят навстречу друг другу, чтобы передрасться и взаимоуничтожиться; диалог тут невозможен, и это не патология, но органический процесс душевной аннигиляции.

Не мое дело медицинские диагнозы ставить, но осмелюсь сказать: Ждан скончался не от пневмонии, а от обилия незаконно размножившихся двойников; они пришли из разных измерений душевного мира и заговорили на разных языках; мы имеем ситуацию метафизической Вавилонской башни. И Башня осталась недостроенной.

Но будем справедливы: написать и спеть более четырех сотен песен – это вам не кот начихал. У Дениса Давыдова или Аполлона Григорьева в разы меньше. Впрочем, дело не в количестве, а в умении так долго держать свою Музу в должном градусе творческого напряжения и креативной бодрости.

Лет десять назад был в Питере очередной конкурс авторской песни; Ждан был у меня в гостях и очень вовремя прихватил с собой гитару. Пошли мы на этот конкурс, в какой-то ДК на Рубинштейна. Там с полсотни лохматых панков и прочих внесоциальных элементов терзали дурно настроенные гитары; на них серьезно взирали девицы в тряпках попугайских расцветок. На этом фоне всегда элегантный, по-спортивному подтянутый Санька выглядел, как гумилевский изысканный жираф среди гиен.

Ждан выступил с двумя песнями, сорвал бешеные аплодисменты и ему, автору, которого никто в Питере живьем не видел и не слышал, охотно выдали диплом лауреата. Я был так горд, будто это мне присудили Нобелевку.

Артиста в себе не спрячешь. Ждан на эстраде – это впечатляющее зрелище. Он как бы ничего особенного не делает, не «представляется», т.е. не играет того, кем не является. Это вышний тип сценической игры, когда артист и вовсе не играет, а ведет себя так, каков он в жизни. Смоктуновский и Шукшин не играют перед кинокамерой; они и в быту такие же. Однако это неразличение условности сцены и безусловности жизни чревато интенсивным саморазрушением: сцена оказывается пространством избыточного усиления живой жизни – с ее катастрофизмом и завышенной душевной эмоциональностью.

Уход Александра Жданова – это прощальный жест артиста, который многое, очень многое, почти все успел. Как много сумел он подарить нам из припасенных им даров, и теперь его вещи живут своей отдельной от творца жизнью – беззаботной и свободной, как ветер, вода и огонь.

В натуре Александра было острое чутье на ложь и несправедливость. Обмануть и надуть его было трудновато, хотя сам он был мастер на всяческие розыгрыши. Он почти болезненно и немедленно реагировал на несправедливость. Вот одна сценка, грустная и смешная вместе. Был у нас на филфаке комсорг, препротивная личность, типичный функционер, буржуй будущий. Никто его не любил за напускную принципиальность, и он знал об этом. У него была внешность злого гнома. И фамилия соответствующая: Страшко.

Вот этому Страшко на общежитейской кухне, где мы со Жданом чего-то на ужин готовили, показалось, что я себя неправильно веду (хоть убей, не вспомню сейчас, в чем именно). Комсорг весьма энергично – с воспитательными целями наехал, начал угрожать репрессиями. Товарищ мой слушал-слушал, но, когда разговор обрел этический перекося, Сашко врезал Страшко апперкотом снизу в челюсть, послав комсорга в

мусорный бак, где тот угнездился весьма плотно и уютно. Пока я восхищался точностью боксерского посыла, комсомольский лидер с проклятьями выбрался из мокрого мусора, а засим убрался восвояси, пообещав отомстить. И ведь отомстил, но, правда, впустую: воспрепятствовал моему хождению в аспирантуру, которую впервые тогда на кафедре открыли. Место с огромным трудом было добыто только одно, и досталось оно единственно достойному его – другу моему Валере Кормачёву, умнице и красавцу, гордости всего факультета. Почти слепой, он прочел больше всех нас, вместе взятых. Но он не проучился и семестра: 13 января 1971 года скончался неожиданно; его смерть стала нашей общей трагедией. В этот мартиролог надо внести и Олега Стаховского. Он принципиально уехал по распределению учительствовать в глухую деревню, где его местная горилла зарезала (Олег вступился за оскорбленную женщину).

Вот так смерть выдергивает каждого второго из нашей и без того короткой шеренги. Олег не напечатал ни строчки; где его тетради со стихами и маленькие этюды по фонетической структуре стиха, с которыми он ездил с нами в Тарту на конференцию, – Бог весть; статьи и стихи Валеры Кормачёва удалось частично опубликовать; наследие Александра Жданова – барда и пиита – представлено солидно: три книги и масса записанных на диски песен. Отдадим должное чудному художнику и великой умнице, моей однокурснице Наташе Аксёновой, разделившей с Сашей последние, самые продуктивные, десятилетия его творческого жития. Она-то и стала его подлинной Музой.

О песнях Ждана мне приходилось уже писать; не хотелось бы повторяться. Я лишь немного добавлю, только три момента.

Во-первых, Ждан, при всем мастерстве, с каким исполнены у него иронические баллады и сатирические сценки, в полной мере проявил себя в иной ипостаси, а именно: в так называемой чистой лирике. Это мало кому удастся – перевести лирическую эмоцию в адекватную музыкально-словесную фактуру.

Афанасию Фету и Фёдору Тютчеву, которых Ждан так любил, это удавалось. Мне кажется, что именно классическая лира имела для Александра высокое учительное значение, и эта оглядка на Традицию придает его стихам-песням некую гарантию надежности и обеспечивает запасом будущего. Да, в смысле все того же: «Весь я не умру...»

Во-вторых, редчайшим качеством лирики Жданова следует назвать опору на национальное Предание, на Отчую память. У него было обостренное чувство Родины, своей Земли и почвенной уродненности в своем этносе, языке и крови. Серебряный век называл это национальным Эросом. Подчеркнем: в этой позиции не было и нет ни грана нарциссизма; судьба Отчизны пережита им с трагической серьезностью и сыновней ответственностью.

В-третьих, Ждан не занимался любимым делом поэтов: нытьем. Есть поэты, у которых ведущая интонация – либо стон (Некрасов), либо просто нытье (Надсон). Ждану часто приходилось несладко, в чем не всегда были виноваты так называемые «обстоятельства». Но он не унывал никогда и твердо, по-православному, помнил, что уныние (тоска, хандра, отчаяние) – тягчайший из грехов. Что бы ни случилось дурного, его выручал некий природный оптимизм. Ждан был человеком надежды, на его горизонте хоть одна звездочка, но мерцала и звала за собой. Для нашего глухого времени, когда по всему периметру Бытия выстроились зловещие знаки последних времен, а нас самих с ног до головы в пять слоев облепили бесы, это не так мало.

Образ небезнадежного мира – вот главный Дар Александра Жданова его друзьям, читателям и слушателям.

Скажем ему спасибо за это и поклонимся молча его могиле.

Алексей ХОТЕЛЬНИКОВ
Санкт-Петербург

ДОБРО СИЛЬНЕЕ...

(Анна Людвиг «Безмолвие». Издательство Союза писателей Санкт-Петербурга, 2011)

У каждого человека есть голос. Голос поэта – это голос особый. Он способен проникать в самые потаенные уголки души. Негромкий голос Анны Людвиг, который слышится в ее строках, звучит эхом, отраженным от нас самих. Проблема добра и зла всегда волновала живущих на земле. Советский поэт В. Луговой написал:

*Пусть дорога тяжела,
Знаем без подсказки,
Что добро сильнее зла,
Наяву и в сказке!*

Песню, в которой прозвучали эти слова, спела Маша – героиня фильма «Новогодние приключения Вити и Маши»... спела голосом Анны Людвиг, выступавшей в то время в детском хоре на сцене Мариинского театра. И то, что произнесла с экрана смешная девчонка, Анна навсегда взяла с собой. «Добро сильнее зла» – эта аксиома красной нитью проходит через стихи Людвиг. Даже в произведениях с трагическим финалом читатель видит продолжение, где злу не будет места.

Анна Людвиг – поэт, с чьим творчеством знакомы многие посетители литературных порталов. Открывая новые и новые странички на поэтических сайтах, Анна своими стихами, как магнитом, притягивает читателей. Тот, кто однажды познакомился с ее поэзией, становится «добровольным пленником» этих страничек. Чем же так притягательны стихи Людвиг?

Суть в том, что Анна простыми доходчивыми словами, облеченными в поэтическую форму, говорит о вещах, которые всегда волновали человека. Лирика Анны Людвиг – зеркало, отражающее знакомые переживания: восторг и отчаяние, горе и радость. В строчках живут чувства, и в этих чувствах таится наш мир – жизнеутверждающий и, в то же время, жестокий и несправедливый.

Но даже все перечисленное не смогло бы с такой силой притягивать читателя, если бы в стихах Анны Людвиг не было душевного тепла. Достаточно прочитать стихотворение «На улице Петра Алексеева», которое Анна посвятила своей маме – Елене Гринер, чтобы понять, насколько произведения Людвиг пронизаны любовью и добротой. Но если после прочтения этих строчек к горлу подкатывает комок, то другие стихи, источающие тепло, вызовут у вас добрую улыбку и ощущение легкости:

*...и нырну с головой в совершенство ночного пейзажа,
распугав ненароком снующие стайкою сны.*

*Присмотрю самый нежный, поймаю его под водой,
не придётся, наверное, даже забрасывать сети!
И, надеясь на то, что пропажи река не заметит,
принесу драгоценный подарок тебе, мой родной...*

В этой книге напечатаны стихи, разнящиеся по своему характеру, содержанию и интонации. В них Анна говорит и о Блокаде Ленинграда, и о любви, и о Чернобыле, и об экзотических странах. «Я», звучащее в лирических стихах Людвиг, это не только «я» ее лирической героини, это ее собственное «я».

Анне замечательно удаются монологи. В нескольких строчках она может сказать то, что иные поэты не способны выразить поэмами:

*С годами жизнь понятнее и краше.
Ну, сколько там ещё? Полвека? Треть?
Давай, родной, откажемся стареть
и будем жить, как будто Вечность – наша!*

В книгу вошли не только лирические стихи. Надо сказать, что Людвиг – поэт разнообразный. Ее поэзия вызывает как горькие слезы, так и слезы смеха. В этом издании представлены иронические и веселые стихи, эпиграммы и пародии... Автор стирает границы между собой и лирической героиней не только в лирических произведениях, но и в стихах, полных самоиронии:

*Кто сказал, что жизнь по кругу ходит?
Это лишь вопрос организации –
я, к примеру, даже в хороводе,
умудряюсь крайней оказаться.*

Пародии занимают особое место в книге. Этот жанр не такой уж простой, как может показаться на первый взгляд. Поэт-пародист – не тот, кто высмеивает других поэтов, а тот, кто умеет тонко и деликатно обыграть ситуацию, фразу, строку, порой, даже слово, не обидев при этом своего визави. И Анне это удастся. Во всяком случае, до сих пор никто из пародируемых авторов не требовал извинений и в суд иски не подавал.

И все же, несмотря на то, что Анна пишет много веселых стихов и пародий, она, прежде всего, – лирик. В одном из стихотворений Людвиг есть такие строчки:

*Надеюсь, приведёт меня легко
к исходной точке маятник Фуко.
Пусть даже не в пространстве, но во времени...*

Нет уже маятника Фуко в Исаакиевском соборе, рядом с которым жила Анна. Да и сама Людвиг сегодня живет в другом городе... в другой стране. Но ориентиры не потеряны. Сохранилась исходная точка, которая называется «добро». Она не теряется ни в пространстве, ни во времени.

Голос поэта – это наши голоса, слитые воедино. Именно таким голосом будет говорить с вами книга, которую вы открыли.



Владимир ШПАКОВ
Санкт-Петербург

ИРОНИЧЕСКИЙ ЭПОС

*(Генрих Шмеркин. Кент Бабилон. Роман-сон. СПб.
Алетейя. 2012)*

Те, кто уехал с исторической родины в пределы других ойкумен, любят писать. Перемещение в пространстве почему-то пробуждает в человеке дремавший писательский инстинкт: вспоминаются школьные сочинения, юношеские стихотворные опыты, и вот рука уж тянется к перу, перо – к бумаге... Разрабатываются, как правило, две магистральные темы: а) несогласие с вновь обретенным миропорядком, б) воспоминания о былом. Однако, несмотря на то, что эти опусы нередко сделаны добросовестно, порой даже «с душой», чаще остается ощущение тяжести, поскольку видно: автор выполняет долг (перед собой, своими близкими, новой или покинутой родиной – не суть важно). Довольно редко после чтения появляется чувство божественной легкости, замысловатой и веселой игры со словами, когда жизненная грусть, драматизм бытия, слезы человеческие – вплетаются в текст ненавязчиво и органично, без всякой тяжести и напряжения.

Роман Генриха Шмеркина «Кент Бабилон» является именно таким произведением. В него погружаешься легко, сразу подчиняясь авторской интонации, каковая, между прочим, имеется далеко не у каждого автора. У Шмеркина интонация присутствует, этот автор имеет свою манеру письма, которая затягивает, так что спустя несколько страниц ты легко перемещаешься вместе с автором по улицам Харькова, даже если никогда там не был. Почему Харьков? Потому что автор, как и его романное alter ego, проживает в Германии, а Харьков – это оставленная историческая родина, куда в один прекрасный день возвращается герой.

Сюжет возвращения, неизбежно отягощенного воспоминаниями, понятно, не нов (и даже очень не нов). Удачу здесь может обеспечить, во-первых, цепкая память к деталям, в которых кроется как дьявол, так и литературный бог. Во-вторых, та самая манера, которая выручает писателя, вытаскивая его из общего списка «ностальгирующих возвращенцев».

Наиболее характерный признак авторской манеры Шмеркина – ирония, не очень серьезное отношение ни к тому, что описывается, ни к себе самому. «Наступал момент истины. Барабанист Бонифаций вытряхивал из своего брезентового гультфика (гультфиком барабанисты называют чехол для барабанных палочек) свежескошенные рублевки, пятерки и трешники. Иногда в закрома попадали червонцы и даже четвертаки. Подсчитав – под надзором недремлющего коллективного ока – дневную выручку, Боня еле слышно (на случай, если за дверью кто-то подслушивает) доводил до нашего сведения сумму. Например: «Девяносто девять рублей и хер копеек». Речь, как вы поняли, о лабухах, тех самых музыкантах из 60-х – 70-х, что играли в каждом городе по клубам, ресторанам и танцплощадкам, развлекая советскую публику и заодно зарабатывая «башли». Автор сам принадлежал к этому неунывающему и относительно свободному сообществу (в совершенно несвободной стране), и чувства юмора не потерял даже в чрезмерно серьезной и скучноватой Германии.

За автора тут отдувается герой-рассказчик, Савелий Капелюшник. Иногда он авторской волей переносится в Харьков советской поры, иногда оказывается в Германии, но везде взгляд героя, который из инженера и музыканта переквалифицировался в писателя-юмориста, полон юмора, а также самоиронии.

« – Так вы к нам – из Ифгаузена?

– Из него.

– Точно? Не шутите?

– Нет, не шучу.

- Хорошо пишете. Вот, берите! Фаршированная рыба, маца, сгущенка...
- Ой, ну что вы, не нужно!
- Наполеон – жена специально испекла!
- Вы ставите меня в неудобное....
- Берите с сумкой, не стесняйтесь! В Ифгаузене передадите все моему брату. Он будет встречать вас на вокзале».

Не знаю, как вам, а с моей точки – замечательная и смешная миниатюра. Это ведь только кажется, что писать смешно – легко, на самом деле этим даром обладают очень немногие авторы.

Убедительность в деталях и подробностях – тоже особенность манеры Шмеркина, что для сюжета воспоминания особенно ценно. Такой сюжет – это всегда колея, которую прокладывает не писатель, а его биография, и он волей – неволей вынужден по ней ехать. Перед взором читателя возникает то Москалевка – место жительства героя-рассказчика в юные годы, то харьковская свадьба советских времен, то дед героя, то отец, то жена, ну и, понятно, бывшие друзья-приятели, с кем вместе бражничали и «лабали». Всемогущий бог деталей тут явно играет на стороне автора, ему ничего не приходится высасывать из пальца, поскольку память, слава богу, не подводит, и подробности сыплются как из рога изобилия. Поначалу даже возникает опасение, что читатель может захлебнуться в обилии этих подробностей, что былое накроет и поглотит – так бывает, если автор не справляется с материалом.

Наш автор, однако, справляется, его рассказы легки и не страдают длиннотами. А главное, он не давит элегической интонацией, не пытается выжать слезу из читателя, время от времени выходя с ним на своеобразный иронический диалог. «Что касается лабания, то басистом он был – типа «до-фа». Не знаешь, что это, читатель? Опять займемся ликбезом. Не стану мучить тебя теоретическими выкладками. Не буду – со

свойственным мне занудством – рассказывать, на какой линейке пишется «фа», а на какой – «до». Начнем непосредственно с практики. Слушай внимательно. Закрой глаза. Представь себе: ты сидишь не дома (в метро, в автобусе, на работе), а в харьковской филармонии, приблизительно в третьем ряду. Я сказал: «Закрой глаза!». Что за дурацкая привычка все время паялиться в текст?! Настоящий читатель должен слышать, о чем кричит автор. Иначе бедный автор сорвет голос». Автор говорит здесь о своем «занудстве», но верить этому не стоит: его стиль – полная противоположность любому занудству.

Не страдает он и еще одной малоприятной чертой, свойственной пишущей эмигрантской братии. В ряде опусов, написанных «за бугром», покинутая родина предстает неким адом, где жизнь невозможна, как невозможна она на Луне или Венере. А значит, выход один – бежать с этой непригодной для жизни планеты, причем на второй космической скорости.

Шмеркин же пишет так, как оно было, нет в его книге ни грана желчи или яда, который нередко выливают на пресловутый «совок» уехавшие. «Не знаю, как где – а в Харькове народ жил все счастливей. Антресоли трескались от печени трески, майонеза и рижских шпрот. Хотелось петь и танцевать. И народ запел. И затанцевал. Вокально-инструментальные ансамбли плодились, как кролики. Их расхватывали забежаловки, обжираловки, тошниловки и обжималовки. Начиналась эпоха всеобщей лабализации». Понятно, все мы знаем цену советскому «благополучию», но и безжизненной территорией ту страну никак не назовешь, готов присягнуть, благо, тоже отсутствием памяти не страдаю. А выражение «эпоха всеобщей лабализации»? Тянет на афоризм, хочется даже запомнить, чтобы где-нибудь при случае ввернуть.

И все-таки автору не помогли бы ни память, ни обилие подробностей, ни чувство юмора, если бы отсутствовало главное. То, что таится между строк любого подлинного произведения и крайне трудно улавливается и поддается определению.

Это не манера, не стиль, не ритм, а... Впрочем, мы все равно не сможем описать, что такое литературный талант – это явление, по счастью, алгеброй не поверяется, так что читателю этих строк остается только поверить рецензенту на слово.

Не следует скидывать со счетов и умение увлечь читателя. Это капризное существо готово в любой момент отложить книжку, и автор должен как-то поощрять его, забавлять, менять ракурсы, юморить, и ничего зазорного в этих «кунштюках» нет. Если не думаешь о читателе – рискуешь быть не прочитанным, и никакие высоколобые оценщики твоего творчества не заставят дочитать книжку до финала. Шмеркин – заботится о читателе, он не дает ему скучать, хотя воспоминания в этом отношении – не самая выигрышная форма. Это ведь твоя жизнь, автор, а мне, читателю, нужна моя жизнь или, как минимум, чтобы ты рассказал о себе увлекательно и не скучно. У Шмеркина получается увлекательно и не скучно, что дорогого стоит. Здесь анекдот соседствует с выпиской из милицейского протокола или рекомендациями начинающему тамаде, эпизод из личной биографии – с историями из жизни совершенно посторонних людей; да и перескоки во времени и пространстве здесь тоже подчас неожиданные и резкие. Только что ты был в Харькове 60-х годов, и вот уже Германия 21 века, так что читатель всегда пребывает в тонусе, он не успевает утомиться.

Случается, авторы включают в прозаический текст стихи собственного сочинения. В большинстве случаев, скажем честно, это провальный вариант, талант прозаика и поэта редко уживается в одной душе, так что читателю приходится испытывать неловкость, дескать, зачем жадничаешь, автор? Зачем лезешь не в свою епархию и портишь свою же книжку?

В случае Шмеркина, слава богу, никакой неловкости не испытываешь. Его стихи, вроде бы простые, лапидарные, без особых изысков, обладают, тем не менее, очарованием и глубиной; они ироничны и драматичны одновременно.

*Старый город. Сумская. Начало начал.
Каждый камень знаком: гастроном, каланча.
Вечер машет крылом, как печальный фламинго.
Здесь я рос и учился, мужал и крепчал,
О любимой мечтал, на рояле брэнчал,
Здесь «люблю!» ей когда-то сквозь ветер кричал,
Здесь однажды впервые ее повстречал –
С незнакомым атлетом в обнимку...*

Здесь нет ни грана нарочитой «поэтичности», но стихи как-то сразу заражают и по-хорошему подчиняют.

Живо перекликаются и со стихами, и с прозой иллюстрации Ольги Чикиной, исполненные тепла, любви и поэзии.

По мере чтения постепенно понимаешь, что Шмеркин – писатель опытный. Но опыта создания большого текста у него, похоже, не было, роман «Кент Бабилон» – первая такая попытка. И попытка, надо отметить, удачная. Перед взором читателя проходит целая череда героев – Паганини, Электрошурка, пианист Адольф, «Еврей Борисович», жена Марина и т.п., и проч. Но они не сливаются в единое целое, каждый чем-то отличается, и по-своему интересен. Получился своего рода иронический эпос, очень обширная, но не скучная и не унылая панорама жизни, канувшей в Лету.

Но ведь любая жизнь рано или поздно куда-то канет, а значит, надо оставлять зарубки, надо удерживать в памяти то, что можно удержать, но при этом прощаться с прошлым надо весело. У Генриха Шмеркина это получилось.



Волна

и

камень

Михаил БЕЛАШОВ

(1951 – 2010)

Родился в России. В 1970 году переехал в Харьков (Украина). Закончил курсы «Промышленной эстетики». Работал художником-оформителем, дизайнером, художником-реставратором. Занимался художественной

чеканкой, резьбой по дереву.

С 2002 года жил с семьёй в Германии, работал реставратором и продолжал заниматься скульптурной резьбой по дереву.

Участник выставки EN-Kunst 2004 (Северный Рейн-Вестфалия).

EN-KUNST 2004

Belashov, Mykhaylo
Wuppertal

Der in Russland geborene Mykhaylo Belashov hat dort als Kunstmaler und Restaurator gearbeitet.

Er lebt seit etwa zwei Jahren in Deutschland.

In der Kluterthöhle stellte er zwei Holzskulpturen aus:

„Frau mit Amphora“
und
„Neues Leben“.



Фрагмент стра-
ницы каталога
выставки
EN-Kunst 2004



Волна



Женщина с амфорой

Новая жизнь*Молва*



Без названия



Фантазия



Собака



Без названия



*Шар в шаре (11 шаров, вырезанных из
цельного куска дерева)*



Ирина АЛЬТМАН Вупперталь

ЭЛЬЗА ЛАСКЕР-ШЮЛЕР В ПЕРЕПИСКЕ С ФРАНЦЕМ МАРКОМ

Весной 2012 года в Вуппертале в Von der Heydt-Museum с успехом прошла выставка произведений из знаменитых музеев мира и частных коллекций «Штурм. Центр авангарда», приуроченная к 100-летию открытия в Берлине художественной галереи «Штурм». Почему именно в Вуппертале, зачем, на мой взгляд, прежде чем зайти в музей, надо было бы спуститься по пешеходке к памятнику великой немецкой поэтессы Эльзы Ласкер-Шюлер (Else Lasker-Schüler)? Какая связь между выставкой, городом и именем великой немецкой поэтессы?

Искусствовед Ирина Альтман перевела на русский язык обширную переписку Эльзы Ласкер-Шюлер с известным художником-авангардистом Францем Марком, которую мы с некоторыми сокращениями предлагаем вашему вниманию.

ВА

Вуппертальский Von der Heydt-Museum располагает одним из лучших в Германии собраний произведений искусства конца 19 – первых десятилетий 20 века, периода возникновения новых стилей и направлений в европейском искусстве. Это было время подъема текстильной индустрии и банковского дела, концентрации капитала в городах Эльберфельде и Бармене (оба города теперь в составе Вупперталя), их интенсивные финансовые и деловые связи выходили далеко за пределы Германии, что благоприятствовало успешному развитию частного коллекционирования. Имя известного мецената и коллекционера Эльберфельда, банкира Августа фон дер Хайдта (August von der Heydt 1851–1929) носит музей Вупперталя. Рекомендациями искусствоведа Рихарта Райхе (Richard Reiche 1876 – 1943), возглавлявшего Общество искусства, коллекционирование было ориентировано на аван-



Эльза Ласкер-Шюлер

Херварт Вальден

гарт. В Эльберфельде и Бармене выставлялись работы Марка, Кандинского, Нольде, Пехштейна, Кокошки, Клее – тех же художников-экспрессионистов, которые были представлены и в Берлине, в галерее «Штурм». С авангардным движением в искусстве того времени тесно связаны творчество и личная судьба поэта Эльзы Ласкер-Шюлер.

Эльза Ласкер-Шюлер (Else Lasker-Schüler) родилась в 1869 году в Эльберфельде в семье банкира Аарона Шюлера. В 1894 году с мужем, врачом Бертольдом Ласкером, (Бертольд – брат Эмануэля Ласкера, чемпиона мира по шахматам) она уезжает в Берлин. В бурлящей новыми идеями художественной жизни Берлина на рубеже веков происходит становление ее как поэта. Здесь же она занимается рисунком и живописью. В 1901 году выходит первая книга ее стихов «Стикс».

В 1903 году после развода с Б. Ласкером Эльза выходит замуж за Георга Левина, музыканта, композитора, теоретика

искусства. Она дала ему новое имя – Херварт Вальден. Он сохранил его и стал известен под этим именем. Вальден был восхищен поэзией Эльзы. Он, по его словам, не стремился писать музыку на ее стихи, а старался сплавить свою музыку с ними настолько, чтобы одно без другого становилось невыносимым.

Годы с Хервартом Вальденом для Эльзы – время обретения свободы и уверенности в творчестве. Появляются сборники ее стихов, проза, пьеса «Вуппер» („Die Wupper“). С выходом в 1911 году сборника «Мои чудеса» („Meine Wunder“) Эльза была признана первой поэтессой экспрессионизма.

Для творческой среды этих лет характерен интерес к древним культурам. Творчество Э.Ласкер-Шюлер отразило ее увлеченность Ближним Востоком и Египтом. Там источники ее поэтических образов, оттуда пришли и ее авторские маски: принцесса Тино из Багдада, король Абигайль и Принц Фиванский Юсуф. Юсуф – это библейский Иосиф, но с именем в другой огласовке, так как с известных пор Иосиф жил в Египте. В мире Востока Э.Л-Ш мирно живут иудеи, христиане, мусульмане.

В 1910 году Вальден создает журнал «Штурм», посвященный культуре и искусству. Энергия стремительного прорыва к новым формам в искусстве как определение всего авангардного движения заключена в названии журнала. Оно было найдено Эльзой. В 1912 году

*Эльза Ласкер-Шюлер.
Автопортрет, 1912 год*



открылась галерея «Штурм». «Штурм» стал выражением авангарда в литературе и изобразительном искусстве, в театре, в музыке и в художественном образовании. Творцы «Штурма» были полны веры в силу искусства, способного наперекор рутинному существованию открыть пути к подлинно духовной жизни человека.

В сентябре 1912 года на обложке журнала «Штурм» была воспроизведена гравюра Франца Марка, члена мюнхенского объединения художников-экспрессионистов «Синий Всадник». Это была иллюстрация к стихотворению Эльзы «Умиротворение» („Versöhnung“). Переписка Эльзы Ласкер-Шюлер с Францем Марком началась в трудный период ее жизни. Развод с Вальденом в ноябре 1912 года она ощутила как распад всей своей жизненно-творческой основы. Их личные отношения переплетены были живыми нитями с их искусством, что давало обоим поразительные плоды в творчестве. Мучительный разрыв вызвал у Эльзы нервное расстройство и депрессию. В какой-то момент она вспоминает, как проникновенно художник Франц Марк отнесся к ее поэзии и нашел свой изобразительный отклик, создав иллюстрацию к ее стихотворению.

Эльза пишет письмо Ф.Марку в свойственной ей образной манере. Маска Принца Фиванского обеспечивает дистанцию, она же позволяет открыть ее душевное состояние.

Берлин, 9 ноября 1912 год

*Высокочитимый художник,
если я буду в Мюнхене (я – Принц Фиванский), навестить
мне Франца Марка? Синий Всадник, подарите мне час, и я
принесу Вам россыпь радужных камешков – я написал много
стихов, среди них – «Умиротворение». Почему Вы выбрали
именно его? Вы в такой же мучительной растерянности, как
и я, когда нет больше дороги, а только пропасти?*

Я буду рада, когда увижу Вас после всех лиц в Берлине, больших и малых, что для меня одно только огорчение. Я пишу мо-

ему издателю. (...) Он должен Вам выслать мою новую книгу, в которой есть мой автопортрет, и там – моя душа, когда ведет ее мой боевой дух.

Но сейчас я лежу в шатре и так болен, что, возможно, никогда не поправлюсь и скоро совсем не буду способен писать стихи. Я так изранен, что где бы ни появлялся, падают капли моей крови. А живу я в одной убогой норе – таков шатер Принца Фиванского. (...) Лучше не буду его описывать.

Итак, высылаю Вам две мои последние книги, кланяюсь Францу Марку. Напишите же что-нибудь замечательное о моих книгах.

Бедный
Принц Фиванский
(Эльза Ласкер-Шюлер)

Письмо Эльзы завершает беглый рисунок пером, на котором восточный город с пальмами, комета, серп луны и приписка: Фивы (древний район храмов).

В реальности ее «нора» – маленькая комната в Берлине на Humboldtstr.13.

Эльза пишет в Баварию в небольшой городок Зиндельсдорф, где живут художники Франц Марк и его жена Мария. Франц родился в Мюнхене, Мария – в Берлине. В Зиндельсдорфе они нашли атмосферу сельской тишины, красоту природы – мир необходимый им для творчества. У них часто гостят художники, их друзья. Сохранились фотографии, которые делал Василий Кандинский, приезжавший к ним. Здесь легко родилось название нового общества мюнхенских художников-экспрессионистов «Синий всадник». Об этом так вспоминал Кандинский: «Название Союза возникло за столом. Франц любил лошадей, я – всадников». Синий цвет в их живописи является символом духовной сути Бытия. Для Эльзы синий цвет также выражение важных начал: неба, пророков, поэзии.

В начале декабря 1912 года Эльза получает письмо от Франца Марка. В нем искренняя отзывчивость человека и абсолют-



Рисунок
Ф.Марка к
его первому
письму Эльзе

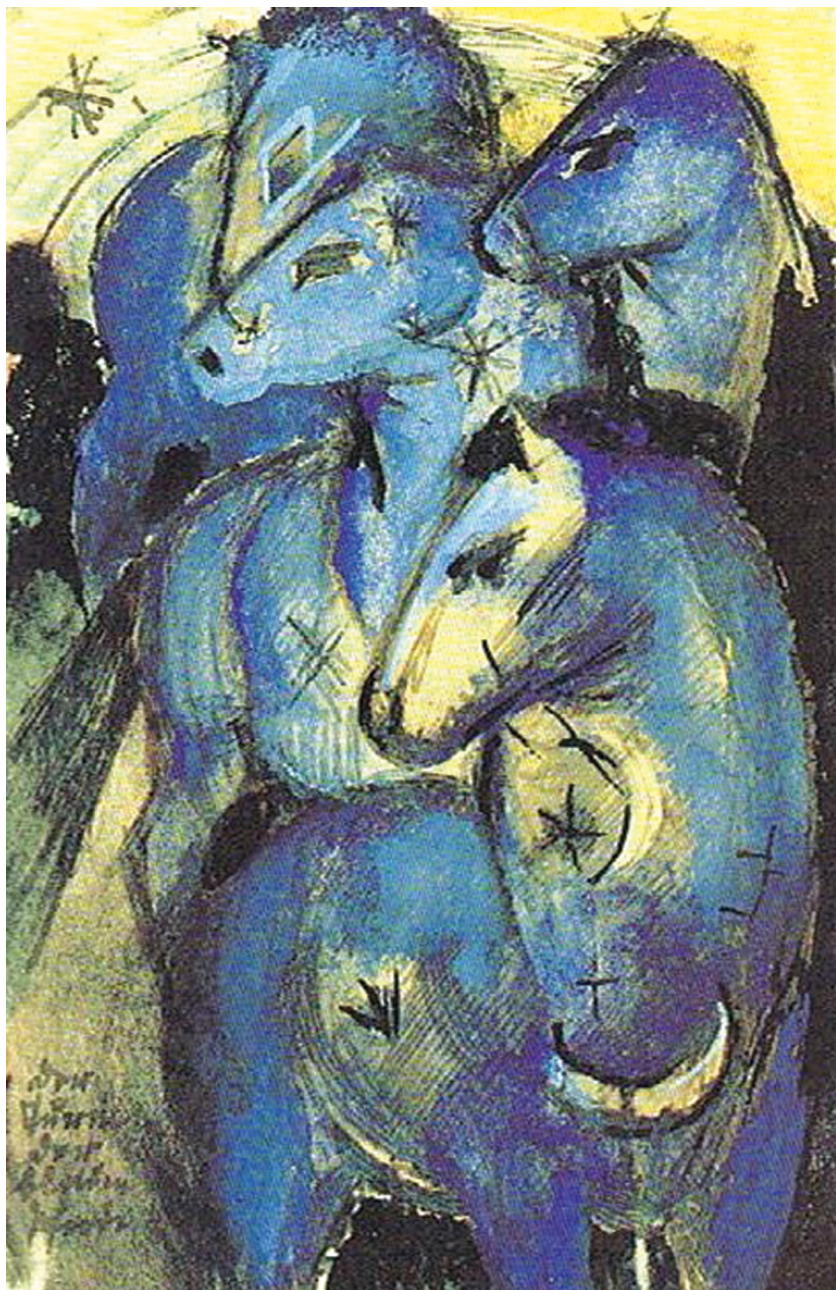
Башня синих
коней

ная интуиция художника в выборе стиля своего послания, который отвечает стилю адресата.

7 декабря 1912 года

Синий всадник представляет Вашему Высочеству своего синего коня. Привет от моей супруги, Ваш Ф.М. (Франц Марк)

Текст этого послания помещен на листе с его рисунком. Это письмо Франца даст ход их дальнейшей переписке, в которой они искусно соединяют реальность с игрой.



При глубоко личном характере переписки, в ней – атмосфера искусства того времени. Сам же экспрессионизм (от Expression – выразительность) не как условный термин из истории искусства, а как живое явление возникает в этих письмах. В искусстве экспрессионизма нет жизнеподобия. В нем предстает мир, отраженный состоянием художника, его глубоким переживанием.

Рождество и Новый год Франц и Мария проводят в Берлине у родителей Марии. В один из дней они были приглашены Вальденом в кафе Josty, где собиралась берлинская богема. Там оказались они в трудной ситуации. Еще недавно влюбленный в Эльзу Вальден ждал иллюстраций Франца к ее стихам. Сейчас их видели сидящими за разными столиками, в напряженном состоянии они старались не замечать друг друга. Вальден был уже со своей второй женой, шведской художницей Нелл Рослунд. Атмосфера не располагала к личному знакомству с Эльзой. Но вскоре здесь, в Берлине, Франц получает от нее письмо.

Берлин, 9 декабря 1912 года

Синий Всадник здесь! Что за прекрасное предложение, в котором все слова – чистые звезды! Я мыслю теперь себя Лунной, живу в облаках. Когда вечерами уже никого нет на улице, я ощущаю себя одиноко, как диск луны. Погрузились в песок, умерли все мои дворцы и мои дикие буйволы, и лохматые верблюды. Все поглотил песок.

Я была в полусне – это до твоего письма, синий Всадник. Оно ворвалось в мою нору, и моим глазам стало больно от того, что будто вихрем заклубилась пыль под твоим дивным конем. Приди ко мне ты и твоя супруга, синий Рыцарь, Вас я люблю.

*Юсуф, Принц Фиванский
Город Храмов.*

Следующие ее письма обращены уже к обоим – Францу и Марии.

Берлин, 15 декабря 1912 года

*Синий Всадник,
золотая Всадница,*

Мне бы, пожалуй, надо умереть. Где же проспать мне пять дней, как один факир, покинуть однажды жизнь, а потом внезапно вновь появиться и удивить и ошеломить всех? Я – вечно бушующем море, а с недавних пор – никакого берега, а если бы и нашла его, оказалась бы среди людоедов. Такие-то дела у Вашего Принца Фиванского. Любите меня!

Сейчас я все чаще думаю об Иисусе из Назарета, и был он из колена Давидова. Тот Дух, что держал его над водами, не давая тонуть, вел и укреплял его небесной благодатной силой. Цвет синий – символ Иисуса.

А вот филистер не терпит цвета.

*Дорогой Всадник,
дорогая Всадница,
Я люблю вас!
Юсуф*

В письме и спонтанные ее чувства, и размышления о сути духовного Бытия человека находят лаконичное выражение посредством образов и через символику. Так, в начале письма, синий цвет в обращении к Францу соединяет она с золотом в обращении к Марии. В этой символике – свет истинной любви.

Вспоминая о Хождении по водам из Нового Завета она противопоставляет синий цвет как символ Христа бесцветности филистеров. Таким образом духовность противостоит рутине обывательства.

В ответ на ее поздравления с Рождеством и пожелания доброго Нового года Эльза получает от Франца открытку.

Эльзе Ласкер-Шюлер

Берлин, 1 января 1913 года

Бесконечно благодарен, дорогая подруга, за дивные книги, посвящения и привет моей Марии.

Доброго Нового года и привет Паульхену

Ваши Франц и Мария

Паульхен – это тринадцатилетний сын Эльзы, Пауль. У него очень рано проявились уникальные способности к рисунку. Заботясь об образовании сына, Эльза нашла в Баварии частную школу со специальной программой. Каникулы он проводит в Берлине.

На полученной Эльзой поздравительной открытке – эскиз будущей картины Франца Марка «Башня синих коней», которая стала впоследствии знаменитой. Сама картина после Второй мировой войны пропала, поэтому этот эскиз особенно ценен.

Франц любил животных и постоянно их изображал. Но работы времени его зрелого стиля – это не анималистические произведения. В этих картинах и высокая поэзия, и философия. Тема животных позволяла Францу Марку передать великое торжество жизни и ее драму. Кони Франца Марка соединяют землю с небом, являясь символом устремленности ввысь.

Получив такой подарок, Эльза откликнулась письмом.

Францу и Марии Марк

Берлин, 3 января 1913 года

Самая прекрасная женщина, Мария,

Вы, дорогой синий Всадник,

Что за чудо эта открытка! – В мою-то плесень такое великолепие!

Мой самый любимый цвет. Небесные вестники! На них – звезды и серп луны! Они несут нам саги и древние предания... Как же благодарить мне Вас и Марию златоволосую?!

Ваш Принц Фиванский

На следующий день, 4 января, Эльза пишет о том, что Пауль в сопровождении ее друзей уехал в свою школу в Баварию, и теперь она может принять приглашение Марков отправиться с ними в Зиндельсдорф.

Есть у Эльзы Ласкер-Шюлер стихотворение «Сфинкс». Образ Сфинкса здесь – воплощение тайны сознания человека, когда в состоянии полусна оживает и неотвязно властвует в нем глубокое переживание печального события. Для покинутой возлюбленным все вокруг нее отзывается болью разлуки с ним. Приходит утро и приходит надежда на избавление от тягостного плена.

СФИНКС

*Сидит он вечерами у моей постели,
И послушанием ему полна моя душа,
И в тихих сумерках моей дремоты
Блестят его глаза, узки, как нити,
Что ловко сонную в свой лабиринт ведут.*

*И рядом вышитая скатерть
Шуршит нарциссов лепестками.
Их цепкий аромат касается подушек –
И в снах моих цветут еще
Его здесь поцелуи.*

*Но улетает лунатичка в облака,
Моя же слабая Психея,
Борясь, противясь, снова силу наберет,
И исцелит меня Земля
Дыханьем теплым лета.*

(перевод И. Альтман)

И Эльза с надеждой на исцеление, на возвращение к творчеству едет со своими новыми друзьями, Францем и Марией в Зиндельсдорф.

Ф.Марк писал из Берлина В.Кандинскому в декабре 1912: «Мы нашли здесь необыкновенного человека: Эльзу Ласкер-Шюлер. Она, вероятно, на пару недель в январе приедет в Зиндельсдорф, чего мы ждем с огромной радостью. Это короткое сообщение, конечно, вызывает тысячу вопросов, на которые в одном письме не ответишь. Здесь заключен целый роман». Слова о романе оказались пророческими.

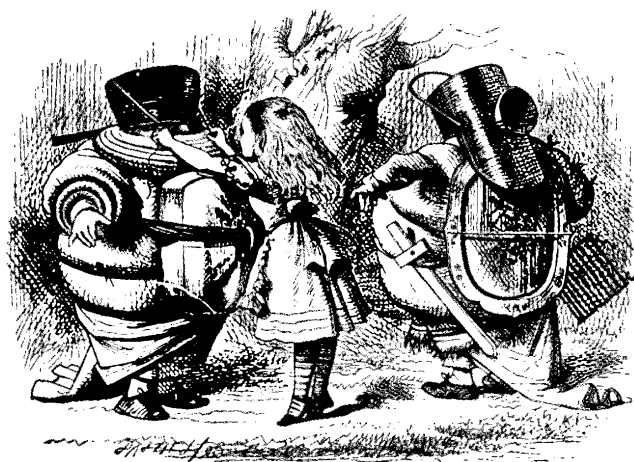
Переписка поэта Эльзы Ласкер-Шюлер с художником Францем Марком стала «романом в письмах».

(Продолжение следует)



Франц и Мария Марк в Зиндельсдорфе. Фото В.Кандинского

Они сошлись



Сергей МАХОТИН

Санкт-Петербург

ШЕСТИКЛАССНИК СЕРАФИМ

Неизвестно, о чем мечтала Таня Косарева, когда ее вызвали к доске читать наизусть Пушкина. Она, будто очнувшись, потрянула головой и начала мягким певучим голосом:

*Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, –
И шестиклассник Серафим
На перепутье мне явился...*

Девятый класс захохотал. Молодая учительница не выдержала и засмеялась тоже. Улыбнулась и Таня. «Надо же, – удивилась про себя, – какая оговорка смешная!»

Никто примерную Таню не заподозрил в озорстве. Все видели, что она случайно оговорилась. От этого было еще смешнее. Кто-то крикнул, что в шестом классе, и правда, есть Серафим. Решили, что на перемене его нужно отыскать. В общем, урок был скомкан.

Серафим Перецын ничего об этом не знал. Шла география. Географ Юрьич рассказывал про лесотундру. День шел, как обычно, и не обещал сюрпризов.

И перемена началась, как обычно, шумно и бестолково. Скользкий линолеум в коридоре, крики и беготня. Перецын не сразу обнаружил, что оказался вдруг в окружении взрослых ребят. Те смеялись и похохатывали, глядя на него свысока, и беспрестанно повторяли: «Шестиклассник Серафим!».

Наконец, это им наскучило, и они ушли, оставив его в покое. К Перецыну приблизились шестиклассники. Толстый Юрка Бурлакин, показывая на него пальцем, крикнул во все горло: «Шестиклассник Серафим!» И все захохотали, даже девочки.

Впервые в жизни Перецын ощутил одиночество.

Его называли Серафимом одни учителя. Дома всегда звали Симой. В классе тоже Симой и еще Перцем. На Перца он охотно отзывался, ибо имя свое не любил. Но что поделаешь, раз так называли...

– Зря ты, – говорила мама. – Красивое имя. Дедушку твоего звали Серафимом Львовичем, папу – Львом Серафимовичем, ты опять Серафим Львович. Родится у тебя сын, будет Львом Серафимовичем. И не прервется цепочка поколений.

– А если дочь?

– Что?

– Если родится дочь?

– А не беда, – смеялась мама и ворошила его рыжеватые волосы. – Что-нибудь придумаем.

Новое прозвище прилепилось к нему, как липучка. Прозвище обидное и странное. Ну как можно обижаться на «шестиклассника Серафима», когда он и есть шестиклассник Серафим?! Но было все равно горько на душе. Он пробовал отвечать обидчикам тем же, кричал в ответ: «А ты – шестиклассник Юрка! А ты – шестиклассник Славка!». Без толку. Издевательски звучало только его прозвище – «шестиклассник Серафим».

Он перестал улыбаться, нахватал двоек и похудел.

– Что происходит? – недоумевал географ Юрьич. – Что с твоим взглядом, Перецын? Он потух! С таким взглядом ты завалишь мне районную олимпиаду.

– А он у нас «шестиклассник Серафим»! – гоготнул на задней парте Юрка Бурлакин.

Класс захихикал. Юрьич, ничего не поняв, лишь развел руками.

Как-то на лестнице его окликнула Таня.

– Привет, шестиклассник Серафим! Вот, значит, ты какой. Совсем не страшный Серафим. А я из-за тебя чуть четверку не получила.

«Ненормальная», – подумал Перецын.

- Да не дуйся, я ведь не нарочно. Ты сам-то «Пророка» читал?
- Какого еще пророка?
- Пушкинского, какого! Прочитай, развеселишься.

Об этом нелепом разговоре он вспомнил через несколько дней, когда вытирал пыль с книжной полки. Бросил на подоконник тряпку и вытащил Пушкина в мягкой обложке. «Пророк» обнаружился на 156 странице.

Стихотворение поразило Перецына.

Строчки вспыхивали, как ожившие вулканы, непонятные и страшные: «неба содроганье», «жало мудрыя змеи», «отверзлись вещие зеницы»! Что это за шестикрылый Серафим такой? Зачем он вырывает у героя язык, грудь ему рассекает мечом? А герой, этот самый пророк, не умирает, несмотря на ужасные пытки. Ему даже как будто и не больно. Сейчас встанет, как ни в чем не бывало, и пойдет глаголом жечь сердца людей. Тоже непонятно: зачем их жечь и что вообще значит – «жечь глаголом»? Много было в стихотворении странного, оно волновало, беспокоило. «Гад морских подводный ход» пробирал до мурашек.

– Сима, ты уже убрал свою комнату? – крикнула из кухни мама.

Он сунул Пушкина в школьный рюкзак и взялся за веник.

Перецына продолжали дразнить. Но он уже привык к своему одиночеству и не испытывал прежней горечи. Двойки он исправил, на географической олимпиаде заработал грамоту, и Юрьич досрочно наградил его годовой пятеркой. Все это случилось как бы само собой и потому не слишком обрадовало. Иная радость согревала его душу. «Пророка» он уже давно знал наизусть. Знал, что означают вышедшие из употребления слова: «виждь», «внемли», «десница». Но самое главное, он полюбил свое имя – Серафим.

Зима в том году выдалась снежной, морозной и долгой. Прихватила март. А в апреле вдруг сразу стало тепло, почти жарко. Грохотали оттаявшие водосточные трубы. Повсюду текли бурливые ручьи и речки. Вода заливала подвалы, вытала кивала крышки канализационных люков. В один из таких люков Серафим и провалился.

Рядом со школой возвышалась гора строительного песка, оставшаяся еще с прошлогодного ремонта. На горе стоял брошенный рабочими большой деревянный барабан без электрокабеля. Вода подточила песок. Барабан качнулся и покатился, набирая скорость, в сторону стройплощадки.

Серафим коротал большую перемену, беспечно слоняясь по школьному двору. Когда он увидел мчащуюся огромную катушку, у него похолодел затылок. У турника, с закрытыми глазами, подставив солнцу лицо и шею, загорала старшеклассница. Барабан почти бесшумно летел прямо на нее. Оставалось каких-то метров десять.

– Беги! – выкрикнул Серафим пересохшим ртом, сам бросился к ней через поребрик и ухнул с головой в ледяную воду...

Врач определил воспаление легких.

Через неделю домой к Серафиму пришла Таня Косарева. Она о чем-то поговорила с мамой и вошла к нему в комнату.

– Можно?

«Ненормальная», – узнал ее Серафим.

– Меня зовут Таня. Здравствуй.

– Здравствуй. Меня Серафим.

– Я знаю, – Таня улыбнулась. – Ты мне даже снился.

«Ненормальная и красивая», – подумал Серафим. У него опять начали гореть щеки и лоб, поднималась температура. Хотелось выбраться из-под одеяла, но он не смел.

– Я пришла тебя поблагодарить, – сказала Таня, помолчав. – Ты меня спас.

Серафим с трудом сообразил, что это на нее катился тогда деревянный барабан. Голова налилась свинцом. Он попробовал приподняться.

– Лежи, лежи, – забеспокоилась Таня. – Я сейчас уйду, к тебе нельзя надолго.

Она вытащила из сумки двухлитровую бутылку лимонада и три апельсина.

– Поправляйся. Ты теперь мой друг, мне тебя Бог послал. Не сердись на меня, пожалуйста.

Она наклонилась и поцеловала его в горящий лоб. Губы были прохладны. Серафим зажмурился и не спешил открывать глаза, не зная, что говорить и как себя вести с красивой Таней. А потом он уснул.

«Почему у тебя шесть крыльев?» – спросил он во сне.

«Не крыльев – крыл», – поправил его ангел.

«А у меня такие будут, я ведь тоже Серафим?»

«Будут, но не скоро. Не торопи время свое».

«Я слышу тебя, но не вижу твоего лица. Какой ты?»

«Нельзя тебе видеть лица моего. Живи, мальчик».

Кризис миновал. Болезнь медленно отпускала Серафима. До летних каникул он провалялся дома. В школе Юрьич настоял, чтобы Перецына перевели в седьмой класс вместе со всеми, ругаясь, что за лето тот все наверстает. Так оно и случилось. А когда наступил сентябрь, Серафима уже не дразнили. Потому что прозвище «семиклассник Серафим» даже Юрке Бурлакину казалось лишенным всякого смысла и юмора.

ТЫ СМОГ БЫ БЕЗ МЕНЯ ОБОЙТИСЬ?

Юрка пришел в школу какой-то грустный. Или задумчивый. В общем, не такой какой-то.

Я решил, что он просто не выспался. Или встал не с той ноги. Но Юрка даже на переменах не носился по коридору, не кричал, не толкался. Он стоял у окна и строго на всех поглядывал.

– Ты чего? – спросил я.

– Ничего, – сказал Юрка и опять нахмурился.

Я решил к нему не приставать. Если он что-то придумал, все равно первый заговорит. Надолго его не хватит.

Но Юркухватило аж до большой перемены. Наконец, он отвел меня в самый конец коридора и, убедившись, что никто не подслушивает, произнес тихо:

– Скажи, ты мог бы без меня обойтись?

Я сначала подумал, что он про парусник. Мы три дня уже склеивали новую модель у меня дома. Совсем чуть-чуть осталось.

Я огорчился:

– Ты что, не придешь вечером?

– Не в этом дело, – Юрка мотнул головой. – Ты вообще мог бы без меня обойтись?

– Без тебя, что ли, склеить?

– При чем тут склеить! Представь, что меня нет. Что бы делал?

– Ну, – я пожал плечами, – подождал бы денек. Клей лучше схватится.

– Ты что, не понимаешь, что ли! – закричал Юрка. – Нет меня и никогда не было! Смог бы?

– Чего ты орешь? – рассердился я. – Чего смог бы?

– Обойтись. Без меня...

«Вот привязался», – подумал я и оглядел Юрку с ног до головы. Ему, пожалуй, пора было постричься. Или хотя бы расческу завести. Волосы у него плясали во все стороны. Левое ухо почему-то было запачкано синей пастой. Из-под пиджака вылез край белой рубашки в горошек.

Никак нельзя было представить, что его нет. Как же нет, когда вот стоит! К стенке прислонился.

Я пожал плечами и спросил:

– А ты без меня?

– Нечестно, – возмутился Юрка. – Я первый спросил. А ты отвечай. Только честно.

– Наверное, смог бы, – честно ответил я. – Если тебя нет, я с тобой вообще бы не познакомился никогда.

– Я так и думал, – вздохнул Юрка и двинулся от меня прочь, бормоча: – Друг называется...

– Постой, – догнал я его. – А ты-то сам смог бы без меня обойтись?

Юрка остановился. Он посмотрел мне прямо в глаза и тоже честно ответил:

– Не знаю... Иногда я думаю, что не смог бы. А иногда, что смог бы.

Мне вдруг сделалось грустно. Все-таки он смог бы без меня обойтись. Иногда, но смог бы... Тьфу ты! Все настроение испортил.

До конца уроков мы не разговаривали. Изредка я поглядывал на Юрку. Он сидел на своей третьей парте у окна, смотрел на тополь, начинающий уже зеленеть, и неизвестно было, о чем он думает. Наверное, дует на меня.

Но из школы мы, как всегда, вышли вместе.

Мы шли и молчали. Довольно противно было так идти. Я начинал все больше и больше на него злиться, и мне стало казаться, что без Юрки я и вправду спокойненько мог бы обойтись. Вдруг он спросил, не поворачивая головы:

– Слушай, а без кого ты вообще не смог бы обойтись?

«Заговорил, наконец!»

– Без родителей, наверно, – ответил я, немного подумав. – А ты?

– Без родителей, конечно, не смог бы.

– А без Пирата?

– Без Пирата? – Юрка остановился и посмотрел на меня. – Ты что! Он, знаешь, как меня всегда ждет! Я только дверь в подъезде открою, а Пират уже лает на весь дом. Радует, что я пришел.

– Ну ладно, – согласился я. – А знаешь, без чего ты уж точно не смог бы обойтись?

– Без чего?

– Без воздуха.

– Ха! Без воздуха никто не смог бы. И без воды тоже.

– Я где-то читал, – вспомнил я, – что когда на Земле не было суши, а был один сплошной океан, люди дышали жабрами. И обходились без воздуха.

– Ну сказанул! Это ж когда было! Тогда и людей не было.

– Я читал, что были.

– Откуда же они взялись?

– Из космоса. Их высадили осваивать Землю, но потом что-то там случилось, взрыв какой-то, и за ними никто не прилетел. Считалось, что от обезьяны люди произошли, а оказываются – из космоса.

– И негры тоже?

– Ну да... – кивнул я, правда, не очень уверенно. – И негры. У них же там, в космосе, разные национальности живут.

– А я вот о чем думаю! – воскликнул Юрка. Он опять был прежним. – Вот если самолет идет на посадку, закладывает ли у мухи уши?

– Чего-чего? У какой еще мухи?

– Ну муха же в самолете летит! Залетела в самолет, когда он еще на земле был, где-нибудь на юге. И полетела в Петербург.

Я засмеялся.

– Да я сам видел! – закричал Юрка. – Мы летом возвращались с юга, и с нами муха летела. Даже на нос мне села один раз.

На меня напал такой смех, что я даже портфель в руках не мог держать и поставил его прямо на землю.

– Ой, не могу! – задыхался я, раскачиваясь из стороны в сторону. – На нос села!.. Муха!.. С ушами!..

Юрка с опаской глядел на меня. Потом сам хихикнул раза два и тоже захохотал. Так мы стояли и хохотали прямо посреди тротуара, а прохожие обходили нас и глядели на нас, как на ненормальных.

...Поздно вечером, когда я уже лежал под одеялом, у нас звонил телефон. Мама долго кого-то расспрашивала: почему так поздно, ничего ли не случилось? Потом вошла в комнату и позвала:

– Вставай. Тебя Юра к телефону. Говорит, очень срочно.

Я прошлепал на кухню и взял трубку.

– Привет! – услышал я Юркин голос. – Я тут думал... В общем, я, наверно, не смог бы без тебя обойтись. Алло? Ты слышишь?

– Слышу, Юрка, – ответил я, улыбаясь. – Я тоже не смог бы. Честно.

Мы помолчали.

– Ну ладно, – сказал Юрка. – Тогда пока?

– Ага. До завтра.

Я тихо повесил трубку.

– Зачем Юра звонил? – спросила мама. – Ты чему улыбаешься?

– Да так... Мам, как ты думаешь, когда самолет идет на посадку, закладывает ли у мухи уши?

Мама всплеснула руками:

– И это называется «очень срочно»! Нашли, о чем разговаривать по ночам. Нет, я телефон отключу, ей-богу! Иди спать скорей.

И я пошел, хотя спать совсем расхотелось.

Из открытой форточкой пахло весной. Прозрачная занавеска чуть подрагивала от влажного воздуха. Сперва осторожно, а затем все уверенней и громче застучал по подоконнику дождик. К утру, подумал я, он смоем остатки грязноватого талого снега. Первый весенний дождь в этом году.



Анастасия ОРЛОВА
Ярославль

Осенью

Я по улице шагаю,
Зябнет голая рука,
Потихоньку выдыхаю
Прямо в небо облака.

А над мокрою дорожкой
Лист последний в вышине
Хрупкой маленькой ладошкой –
До свиданья! – машет мне.

Надеваю колготки

Я свою родную ногу
Отправляю в путь-дорогу.
А туннель длиннющий – жуть! –
Вправо-влево не свернуть.
Темноты я не боюсь,
Да и ты, нога, не трись!

**Один день из жизни мальчишкиной
варежки**

Весь день на морозе рука меня грела,
И я укрывала её,
Как умела.
Потом подружилась с хорошей перчаткой,
За пальчик её подержала украдкой.

Я крепко пожала четыре руки.
Я трогала снег!
Я играла в снежки!
А как снегоходом я лихо рулила!
Пусть снегом залипла и чуть не простыла,
Хорош был денёк!
Обниму батарею,
Все старые ниточки за ночь прогрею.
На вязаном сердце тепло и легко,
И, кажется, так до весны далеко!

Про ботинки и снежинки

Нос курносый у ботинка.
На носу сидит снежинка.
Улыбается ботинок –
Он в восторге от снежинок!

Про птичку и пёрышко

Птичка в луже позабыла
Серенькое пёрышко,
Был летучим мой кораблик,
А теперь судёнышко.

У меня живот ворчит

У меня живот ворчит,
Возмущается, бурчит.
Он на языке животном –
«Дайте каши!», – говорит.

О чём кричит лужа на дороге

Люди!
В лужу – ни ногой!
Обходите стороной!
От ноги в глазах круги.
Лапы прочь!
И сапоги!
Вон, проклятые машины,
У меня от вас морщины!

Пёс дворовый

Пёс дворовый
Рыжебровый,
Рост здоровый,
Взгляд суровый.
Подошёл ко мне,
Нюхнул,
«Проходи», –
Хвостом махнул.

Пешеходница

Я спешу издалека,
Я шофёр грузовика,
В кепочке-обновочке,
Транспорт на верёвочке.

Вдруг на проезжей части
Гусеница – здрасте!
Вытянется-сложится,
Вот так пешеходница!

Невероятная история о мальчике и одуванчике

Вырос в поле одуванчик –
Просто целый ОДУВАН.
Одуван увидел мальчик –
Очень рослый Мальчуган.

Да, как дунет Мальчуган
На огромный Одуван!

Одуван ни «ох!», ни «ах!» –
Все пушинки на местах.

Дунул он ещё разок –
Не колышется пушок!

Дул с разбега, дул в упор,
Покраснел, как помидор,
Десять, двадцать, тридцать... сто –
Одувану хоть бы что!

«Ну и крепкий Одуван!», –
Отдувался Мальчуган.

«Просто мелкий хулиган!», –
Только хмыкнул Одуван –
«Обдуть себя не дам!
Я таким не по губам!»

Пусть ещё побудет лето

Бродит осень рядом где-то,
Пробирается бочком.
И среди тепла и света
Желтый лист упал ничком.

Спрячу я листок приметный,
В свой кармашек положу –
Пусть еще побудет лето,
Я его посторожу!



Александр ПОВБЕРГ
Красноармейск

ДУПЛО

У белочки разболелся зуб.

– У вас дупло, – сказал стоматолог. – Нужно пломбировать.

– Нет-нет, что вы, – не согласилась белочка, – дупло – это же так удобно. Я буду прятать в него грибы и орехи. Так и зиму переживу.

ЧЕЛОВЕК С СОБАКОЙ

Прогуливался вежливый человек с собакой. Сзади его нагло окликнули:

– Эй, человек, стой!

– Извините, вы зовете меня? – любезно спросил вежливый человек.

– Тебя, собака! – ответил наглый гражданин.

– А, – понял вежливый человек, – Мухтар, это к тебе. Фас, пожалуйста.

Собака вежливо укусила наглого гражданина за ногу, вежливый человек извинился и пошел с собакой дальше.

COCCINELLA SEMPTERPUNCTATA

Я хотел понюхать пион. А в нём сидела божья коровка. Она сказала:

– Это мой цветок. Я первая его нашла.

– А ты знаешь, – сказал я, – как тебя называют по латыни?

– Нет, а зачем это мне?

– Коккинелла семптепуктата. Просто запомни, тебе понравится.

– Да, действительно, красиво. Знаешь, я подарю тебе мой цветок, а себе найду другой.

– Ну, в таком случае и мне нужно что-то подарить тебе.

– А ты уже подарил мне имя. Спасибо.



Марина ТЕРШЕНОВИЧ
Дюссельдорф

Из Шела Сильверстейна
(С английского)

Снежок

Прекрасный я слепил снежок,
не знал, куда девать.
И я решил, он – мой дружок,
и взял с собой в кровать.
Пижаму на него надел,
подушку дал под бок...
Он обмочил мою постель
и от меня утёк!

Ростом с дюйм

Ах, будь вы ростом с дюйм, то вы прошли б в дверную щель.
Спуститься в лавку – тридцать дней, будь лавка ваша цель!
Постель – пушинка, если так,
а паутинка – ваш гамак,
наперсток что ночной колпак,
когда вы ростом с дюйм.

Смогли б на жвачке переплыть свой умывальный таз.
Обнять всю маму не смогли б, лишь палец – в самый раз.
Бежали б от людских ступней,
взять ручку – ночь бороться с ней!
Стих я писал пять тысяч дней,
ведь я же ростом с дюйм.



Галина СКУТТЕ

Вунперталь

ЭДЮША-БЭБИ

Атака

— Атака! Атака! – малыш размахивает руками, возмущённый непониманием.

Этот воинственный клич никакого отношения к военным действиям не имеет.

Эдюше нет ещё двух лет. Для непосвящённых речь его – загадка. Но желание разговаривать с людьми неодолимо. Эмоциональный по природе, он хочет рассказать про увиденное, о многом спросить, но... собеседники-долгодумы не понимают, что к чему. А что непонятно? Это же элементарно. Атака – это Наташка!

Мыслитель

Уже с двух лет Эдюша задавал много вопросов. Но они были все на бытовые темы. Типа: Это тё? Это пасиму?

С трёх лет Эдюша заговорил почти чисто и вопросы резко изменились. Он усаживался напротив и пристально смотрел мне в глаза.

– Мама, а где я был, когда меня у тебя не было?

– Мама, а ты меня хотела?

- Мама, а ты уже тогда меня любила?
- Мама, а как ты меня выбрала, ты меня искала?
- Мама, а как ты без меня жила?

Эскимо

Любимым мороженым Эдюши было «Эскимо в шоколаде». Едем в автобусе. Эдюша сидит у окна. Проезжаем заболоченный пруд, поросший камышом. Вдруг Эдюша вскакивает и на весь автобус кричит:

– Мама! Мама! Смотри! ВОТ где растёт эскимо! Скорее – туда!

Дровянка

Который раз читаем сказку Пушкина «Золотая рыбка». Я читаю, Эдюша пересказывает.

И всякий раз он говорит: «Не хочу я быть простой крестьянкой, хочу быть столбовою ДРОВЯНКОЙ».

– Сынок, – поправляю я его, – столбовою ДВОРЯНКОЙ.

– Нет, мама! Столб – это дерево, значит, ДРОВЯНКОЙ!

Пубофка

Младшему Герочке – 6 месяцев. Он лежит на диване, Эдюша ездит на велосипеде по квартире. Я готовлю обед. Слышу, как Эдик подъехал к Гере и недовольно так ворчит:

– Оттай пубофку! Оттай пубофку!

Захожу, заинтригованная, в гостиную и вижу: Гера лежит на спине весь синий, хрипит и задыхается. Схватила малыша, мгновенно – пальцы в рот, перевернула... Выпала пуговка.

Успела положить Геру на диван. И... свалилась на пол.

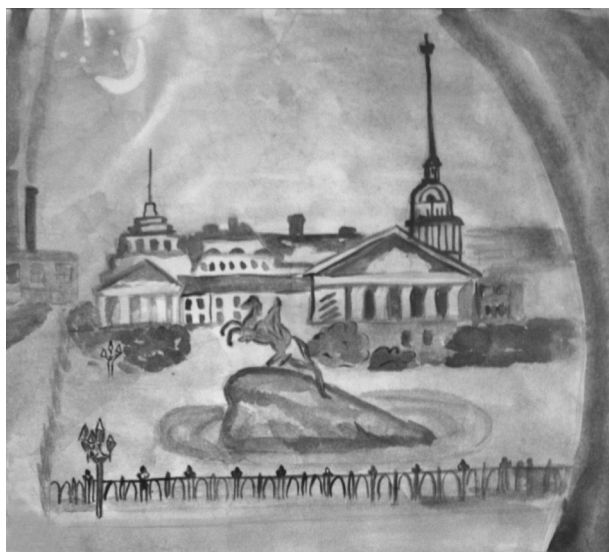
Память

Эдику было 5 лет, когда мы вернулись в Ленинград из Брянска и проходили по улице Маяковского.

– Эдюш, – говорю, – ты здесь родился.

Эдик важно:

– Да-да. Я помню.



Марина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Дюссельдорф

МИШКА НА СЕРВЕРЕ

Мише два года

Мурлычет телик – на детском канале поют девчушки лет десяти.

– Тёти! – авторитетно заявляет сын.

– Ну какие же это тети, – пытаюсь я восстановить историческую справедливость. – Это же девочки!

Миша пожимает плечами:

– Дети-тёти!

Утренняя директива:

– Ребята! Вставать! Кушать!

Ни за что не ест ничего, что не сопротивляется зубам, а тут затребовал кашу. Сварила манную. Съел ложек пять и точка. Потихоньку за пару дней утилизировали: что-то нашему гостю Илюше скормили вроде пудинга, что-то я под чай оприходовала... Через неделю за завтраком папа вспоминает:

– А каша пропадает до сих пор?

– Да нет, – говорю. – Разобрались.

И тут Миша – без малейшего детского акцента:

– Пока я спал, они всю кашу съели...

Буся (кошка) на меня зубы открывала!

Шрек не любит торт. Он любит лук. А осел любит торт. А Фиона тоже не любит торт. Она любит Шрека!

Папа меня не будет возмечь?

Покажи, как твоя конфета нюхается?

Повернись ко мне бочóком.

Мама меня хочет покладить и не дает смотреть мультик.

– Миша, ешь!

– Я это не ёю!

Разбил губу в кровь. Измазал кровью куртку. Удивляется:

– А чего меня покрасили?

Мише три года

В зоопарке. Радостно кидается к клеткам, называя зверух по их мультяшным именам: рыбка Немо, лев Алекс, зебра Мартин... Загон с лошадьми Пржевальского. Одна лошадка отирается у самого барьера, лижет прутья и не возражает против ласки посетителей. Папа гладит лошадке мордочку и предлагает Мише. Тот деловито закладывает руки за спину:

– Я не буду ее мягать, а вдруг она глупая! Я же не знаю, как ее зовут! Лошадка, как твоё имя?

Бабушка Лена долго прощается, целует Мишу, потом снова стоит в коридоре.

– Лена, иди уже домой и слушай свою совесть!

Сидит с мамой вечером на балконе, следит за бражником:

– Мама, это муха?

– Нет, бабочка.

– А что она делает?

– Сидит, отдыхает.

– А почему она не бабает?

Тычет в маму острой палочкой. Мама:

– Не бей меня, Миша!

– Я тебя не бью, я тебя закаляючил!

Преграждает собой дверь:

– Незаходимо!

Собираюсь на концерт. Одеваюсь. Выхожу в джинсах и белой блузке.

– Мама, какая ты голубелая!!!

София. Мы в соборе Святого Александра Невского на воскресной службе. Зрелище невероятно красивое. Вдруг Миша засуетился:

– Папа, посмотри на свои ноги! Мама, посмотри на свои ноги! Пожалуйста, посмотрите скорее на свои ноги!!!

Смотрим. Ничего особенного. Потом въезжаем – народ в соборе крестится и кланяется. Со стороны, и правда, на свои ноги смотрят!

Провожая гостей произносит неизменную фразу:

– Пока-пока! Придешь домой – покушай!

Можно попробовать эту конфетку? Лизачком...

Училка физкультуры разложила по полу яркие обручи, обтянутые разноцветной фольгой, и командует:

– Все в синий! Все в желтый!

Детки послушно прыгают в обручи, Мишка стоит, как вкопанный.

Училка тут же наезжает на мамашу, мол, детка недоразвитый, цветов не знает.

Я пожимаю плечами:

– Знает. Потому и не идет. Тут нет ни синего, ни желтого, – тут голубой и золотой.

Училка слегка роняет челюсть и неуверенным голосом:

– Все в го-олубой...

Детки оглядываются, Мишка уже стоит в соответствующем обруче.

Занавес.

Идем домой из вечерней группы. Миша устал (а когда он уставший, он капризничает и сочиняет трагедии так, что Софокл тихо курит в сторонке, подумывая о заявлении об уходе).

– А папа дома?

– Нет, папа на курсах, язык учит, придет позже, чем мы.

Хныканье. Потом молчание. Вдруг:

– Ты зяная тетя (злая, плохая)!

– Почему?

– Ты папу не любишь!

– Гм... А ты любишь?

– Неть.

– Значит ты зяный мальчик?

– Да!

– И что же мы теперь будем делать? Придется папе об этом сказать. И он тогда уйдет от нас и найдет другую тетю и другого мальчика, которые будут его любить. Так?

Молчит, сопит. Потом:

– Нет! Мы ему не скажем. Пусть приходит к нам, домой... – пауза, потом с надрывом: – НЕЛЮБИМЫЙ!!!

Папа работает на компьютере. Миша забирается к папе на руки:

– А на что надо нажимать?

Папа:

– погоди нажимать, надо подумать...

Миша:

– Я уже подумал. Надо нажимать.

Почитай мне «Бемби», а то сейчас будут епъессии (репрессии)!

Папа просыпается – я слышал, как он дыхание делал!

Там пожар. Сейчас я плюнов наберу и потушу своими плюнями!

Первые стихи (дядя Сережа, гордись!):
Поляков – боится волков!

Прибежал, глаза горят, становится в позицию «руки в стороны, ноги на ширине плеч»:

– Я всё понял! Мы – звезды! У нас форма, как у звезд!

Построил из строительного и технического конструкторов что-то очень сложное.

– Мишенька, что это?

– Это макулярный сепаратор (молекулярный, надо полагать)!

У папы опять не работает компьютер. В расстройстве он выходит на балкон. За ним выбегает Миша:

– Что с тобой, папа? Ты выглядишь неаппетитно!

Подстригаю Мишке челочку. Забеспокоился:

– Мама, ты это не выбрасывай! Аитет! (Раритет!)

Разложил шарики по цветам – синий с желтым, розовый с голубым, оранжевый с фиолетовым. А фиолетовый лопнул. Приходит, потрясая оранжевым шариком:

– Все шарики поженились, а ожаная одна.

– Ну?

– Надуй филетый.

– Фиолетовый лопнул, а другого нет...

– Так что же теперь ожаная так и пропадет одна?.. Без мужа??!!

Рассуждает:

– 3 и 0 получится тридцать, 2 и 0 получится двадцать, 1 и 2 получится двенадцать, а 0 и 0 получится нолядцать!

Принес паззл.

– Давай сложим эту... Как ее фамилия?.. А, головоломку!!!

Мише четыре года

У Миши день рождения. Само собой – подарки, сласти...

Папа предлагает Мише пообедать.

– Некогда мне, – отвечает Миша. – У меня именины!

Миша усаживает новые игрушки в свежеподаренный поезд:

– Скорее, скорее! Мы опаздываем на церемонию открытия!

Бабушке Лёле:

– Ну что ты всё ломаешь? Прямо какая-то ломачеха!

Папа:

– Миша, а знаешь, что маленьким детям нельзя ложиться днем в кроватку (обычно Мишка делает всё наоборот и бежит в кровать)?

Миша делает шаг к кровати, останавливается:

– А-а-а, папа, это всё твои шуточки!

Рассказывает сказку про аленький цветочек:

– Колдунья наложила заклятие, а принц расклялся и опять стал принцем!

Карнавал. У Мишки костюм короля Артура. Фехтует с папой на мечях:

– Бойся, мерзкое мерзавище! Я убью тебя живым!!!

Приносит из садика обломок девичьего колечка:

– Это тебе, мамочка! Красивое колечко?

– Очень! Спасибо, Мишенька!

– Таким женщинам, как ты, нужно только колечки дарить... Или короны! – глубокомысленно изрекает сын.

Сообщает по телефону:

– Я тронул пальчиком горячую кастрюлю, но плакать пока не буду – подожду, когда ты придешь и меня пожалеешь!

Ты опять проиграл, папочка! Ты вообще у нас проигрыватель!

Лежим втроем на диване, смотрим мультик про белку из «Ледникового периода». Эпизод, когда белка в полете с огромной высоты собирает падающие вместе с ней орехи в один большой шар и бежит по нему...

Мишка (задумчиво):

– А почему белка не падает с этого шара? И орехи не падают? И если Земля круглая, почему мы с нее не падаем?..

Мы с папой синхронно открываем рты, чтобы просветить чадо об основах притяжения Земли, но не успеваем...

– А-а-а!.. – так же задумчиво продолжает чадо. – Я знаю! Это г'гавитация!

Это нам п'гигодится, если будет какая-нибудь напасть...

Сейчас мы будем это утилизировать, чтобы выполнять некоторые эффекты!

Роюсь в Сети, а Миша на коленях сидит. Нахожу портрет Ньютона. Мишка вопит:

– Я этого дядю знаю! Ему на голову яблоко упало!

Я тихо так говорю:

– А может, ты еще знаешь того дядю, который в ванну сел?

– Знаю, – говорит. – А'гхимед!..

Мише пять лет

— Миша, пойдешь завтра в садик?

— Конечно, нежелательно, но, видимо, придется!

Мама, а что такое: «Не искушай судьбу»?

Мне:

— Ну, иди же со мной, моя красавица!

— Мишка, чего надулся?

— Я печален!

Тут надо выторчку поставить! (В смысле – галочку.)

Мама! Ты что, хочешь, чтобы я твоего дорогого мужа ударил?

— Мишка, не возись! Чего ты застрял?

— Я думаю... О прошлом...

Напиши лучше ты, а то у меня такие малякулы получаются!

Посмотри, это моя машина. Она уменьшает и увеличивает!

10 вечера. Мишка с важным видом листает журнал.

Я:

— Миша, спать пора.

— Не-а, мои глаза еще не хотят слипаться!

— Не ХОТЯТ!

Рассеянно:

— Да, можно и так сказать...

— Миша, завтракать!

— Мы – свободные люди, правда?

Черт подели!

– Папа, дай мне мою рулетку!

– Это с каких пор она твоя?!

– С давних пор!

Сидим в гостях у друзей. Их младшенькая (на полгода старше Мишки) увлеченно с ним играет. Прибегает зареванная:

– А Миша меня калякой-малякой нарисовал! Я тут какая-то зеленая и без юбочки!.. Розовой!

Я:

– Ну что же ты девочку зеленой рисуешь и без платица, и какая-то красная штука во лбу...

Сын возмущенно:

– Мама! Это же мозги!!!

Нацепил на голову коробку из-под игры:

– Смотрите на меня! Я – гражданин!!!

На голове не лоб, а маленький лобок!

Миша:

– Вот бя!

– ЧТО???!!!

– Ну бя – она на деревьях сидит и листики ест. А божья коровка прилетает и деревья спасает. (Тля, то есть...)

Жаль, что Пушкин умер! Он бы нам еще сказок написал!

Мишка сильно не в духе. Папа зовет кушать...

– Вот не буду есть и умру от голода!

– Так значит твой борщик и курочку мы съедаем?

– Нет, отложи!

– Зачем откладывать? – удивляется папа.

– Потом принесешь мне... На кладбище!..

Тут проходил медведь, огромный, как большая трата времени!..

Бильштайн. Саша Ищенко играет с детищами. Мишке (о, счастье!) достается волшебная палочка из «старинной» книги о чародействе. Юный волшебник пару раз машет палочкой с сопутствующими заклинаниями («Бибити-бобити-бу!») и разочарованно возвращает назад:

– Это не волшебная палочка, а дешевая китайская подделка!

– Миша, хочешь кушать? Есть «немецкая» колбаса (любимая индюшиная, нарезанная тонкими кружочками).

– Давай! А еще дай мне мою любимую, русскую, ЕРВЕЙСКУЮ!

Была Репка, был дед. Она стала красивой, и ее уничтожили...

Папа, дай мне ветрадаш! (веер хотел...)

Мише шесть лет

В гостях наш друг Серёжа Поляков, с которым у Миши сложные отношения. Миша пришел с улицы и договаривается с папой насчет обеда.

– Буду суп и курочку. А этого, – упирает перст в Сережу, – зверюгу побереги для меня на потом!

– Миша! – возмущается папа. – А где же почтительность к старшим!

– Пожалуйста! – невозмутимо добавляет сын.

Утро, подъем в школу. Дитя досыпает на горшке. Я интересуюсь:

– Ты сегодня кто: коала (поедет в ванную на маме в обнимку) или пингвин (сам вперевапочку потопает)?

– Я ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ПИНГВИН!!!

Прилаживает на стену светофор. Приходит:

– Мама, дай мне такую... острую...

– Кнопку?

– Да!

Даю со словами:

– Только...

– Да-да, – перебивает сын, – я буду ПРЕДЕЛЬНО осторожен!

– Мама, а знаешь, как по-немецки «больно»?

– Тут ве.

– Не-а!

– Ну, можно – эс шмерцт.

– Не-а!

– Хм! А как?

– Ау!

Кто, как не Микеланджело, мог создать «Давида»?..

Демонстрирует свои художества:

– Вот тут ёлочки растут, вот тут снежинки летают, а вот тут гроб...

– ЧТО???

– Ну такой белый, в него падать хорошо...

– Сугроб, что ли?

– Ну да, я так и говорю – гроб!

Бомбы, мины и эти... гитарды!

Я пойду охотиться. У меня есть две стрелы: стрела правды и стрела любви... этого... Капидона!

Не закончив переодеваться, удрал в туалет, восседает на унитазе, качая голыми ногами. Мама приносит штаны:

– Надень!

– Зачем? Срам прикрыть?

Владимир АВЦЕН
Вуипперталь

КСЮША

Внучке Ксюше 8 месяцев

Дарю её маме Кате хозяйскую сумочку, закамуфлированную под розочку. Мама отдаёт эту типа розочку (поиграть) Ксюше. Та берёт «цветок» и демонстративно нюхает:

– М-м-м... А-а-а... М-м-м... А-а-а...

Ксюше 2 года 4 месяца

Донецк. Осенний прохладный вечер. Родители пытаются натянуть шапочку на Ксюшу, ей это не очень нравится. Я, дабы подать ей пример, указываю на свою фуражку:

– Ксюша, смотри, дедушка тоже в шапке!

Ксюша:

– Это не шапка, это кепка!

Через пару дней раскапризничалась. Пытаюсь её отвлечь:

– Ой, какие у Ксюши длинные волосы! У Ксюши длинные, а у меня, смотри, – маленькие.

Ксюша:

– Не маленькие, а короткие!

В садик ходить, к сожалению, надо, но кому ж охота... Ксюша не исключение. Бабушка Света в воспитательных целях долго рассказывает ей по телефону, какое это хорошее дело – садик. Ксюша внимательно слушает, потом резюмирует:

– Сама ходи в свой садик!

Мама Катя зовёт папу Алёшу:

– Алёша! Алёша!

И снова:

– Алёша!

Ксюша – ей:

– Да идёт твой Алёша! Идёт!

Ксюше 2 года и 8 месяцев

Украина. Папина работа кормит плохо. Ксюшины родители у компьютера, просматривают сайты с описанием различных бизнесов. Цель – найти что-то подходящее, позволяющее выжить. Находят какой-то вроде бы неплохой вариант. Обращаются к дочке:

– Ну а ты, Ксюша, как думаешь, стоит этим заниматься?

Ксюша:

– Я думаю, не стоит. Это опасно...

– Ты – непоседа?

– Нет, я – поседа!

Я не балуюсь – я занимаюсь спортом!

Ксюша в нарядном белом платье.

– Ты – невеста?

– Нет, я – не невеста – я просто человек Ксюша!

Бабушка – Ксюше:

– Я иду на базар, что тебе купить?

Ксюша (не задумываясь):

– Самовар!

– Самовар тяжеловато!

– Ну тогда утёнка – только живого!

Бабушка:

– Когда же я пойду на пенсию?

Ксюша:

– Иди! А ты (обращаясь к маме) не ходи, а то заблудишься!

– Кто зимой и летом одним цветом?

– Дед Мороз!

Мама – Ксюше:

– Завтра пойдём к нашему доктору и она скажет: «Ксюша, ты здорова!»

Ксюша:

– Нет, я не здорова – я не хочу в детский садик!

Крокодил Гена – он, а Чебурашка – она!

Ксюша маме:

– Ты – настоящая мама, а я – будущая!

В разговоре упомянули, что тётя Наташа – сладкоежка.

Ксюша как бы между прочим:

– Не повезло тёти Наташиным зубам.

Никак не включается Интернет. Мама нервничает:

– Да что же это такое?!

Ксюша успокаивает:

– За-гру-жа-ется!

В отсутствие хозяев кошка погрызла конфеты на столе.

Ксюша:

– Вот умора – все конфеты съела.

Ксюша громко плачет.

Папа:

– Ксюша, я уйду на работу. Может быть, ты поцелуешь меня на дорожку?

Ответ:

– Я пла-а-ачу!

В другой раз Ксюша плачет, но недолго. Окончательно успокоившись, комментирует:

– Поплакала немножко... как Таня. (Имеется в виду «Наша Таня громко плачет».)

Под влиянием мультика «Маша и Медведь».

– Ксюша, вкусно?

– Вкусновато, но маловато.

– Ксюша, твоя кукла воспитанная?

– Воспитанная – она не кричит, как Маша: «Кашу! Кашу! Кашу!»

В магазине продавщица подбирает Ксюше заколку к волосам.

– Ты тёмненькая – тебе подойдёт красная.

Ксюша:

– Я не тёмненькая, я – шатенка.

Бабушка Ксюше:

– Спасибо, что пришла. Придёшь ещё?

Ксюша:

– Как не прийти?!

Бабушка Ксюше по телефону:

– Передай всем привет, скажи: будьте здоровы и счастливы.

Ксюша молчит.

Бабушка:

– Что сказали?

Ксюша:

– Сказали: будут счастливы.